

Далия
Трускиновская



Окаянная
сила

Даля Трускиновская

Окаянная сила

«Снежный Ком»

1998

Трускиновская Д. М.

Окаянная сила / Д. М. Трускиновская — «Снежный Ком», 1998

Прекрасная Алена — скромница-золотошвейка, близкая подруга и наперсница Евдокии Лопухиной, ставшей царицей всея Руси и женой Петра I, переживает за судьбу подруги. Петр I охладил к своей молодой жене, и Алена готова на все, чтобы вернуть любовь царя. Но ведает ли Алена, что ей предстоит попасть в разбойничий стан, стать могущественной колдуньей, повелевающей стихиями и душами человеческими. Ведает ли Алена, что ее прокляли еще в утробе матери и тяжкое проклятье грозит разрушить не только ее жизнь, но и судьбу ее близких. И нет предела ведьмовской, окаянной силе.

© Трускиновская Д. М., 1998

© Снежный Ком, 1998

Далия Трускиновская

Окаянная сила

– Не замерзли пальчики-то, свет?

Аленка, уже почти поднеся к губам кулачок, чтобы согреть его дыханием изнутри, испуганно повернулась.

Личико у матушки Ирины было махонькое, лоб по самые брови срезан черным платом, бледные щеки им же укрыты до уголков улыбчивого рта. Так для черницы приличнее, да так же, по зимнему времени, и теплее.

Зима ранняя, холодов не ждали, топить сразу не наладились...

– Господь с тобой, Аленушка, – черница, склонясь над девушкой, приобняла ее и покивала, глядя в работу.

Девушка клала мелкий жемчуг вприкреп по уже готовой вышивке, выкладывая длинный конский волос с нанизанными на него жемчужинками по настилу – промеж двух тонких золотистых шнурков, обводящих завитки узора. Это было второе зарукавье ризы, которую уже скроили и сшили послушницы для отца Амвросия. Первое, готовое, лежало перед Аленкой, чтобы сверять счет и размер жемчужин.

Аленка взялась уж за последнюю низку. Пальцы делали свое дело, а девушка уже думала о новом рукоделии, которое затевалось давно, и наконец-то удалось получить давно обещанный матушками не багряный, а багровый бархат, удивительного цвета, яркого и густого, на изгибах уходящего в просишь.

– А что у нас в этой палате холодненько, так ты не огорчайся, это тебе от Господа испытанице малое, – ласково проговорила матушка Ирина. – А и шла бы ты к нам окончательно, Аленушка, чего ты у бояр своих позабыла? У нас тихо, благостно, первой искусницей будешь.

Она протянула руку к стоявшим возле большим пальцам, коснулась перстом линии, наведенной по бархату меловым припорохом, и Аленка, боясь за сложный узор, который второе уж утро переносила на ткань, удержала эту истончавшую желтоватую руку. Узор дался ей нелегко, она долго двигала двумя составленными уголком зеркальцами над клочком дорогого персидского атласа, с золотистыми завитками по черному полю, пока не добилась своего – узор на том клочке шел по большому кругу, а ей хотелось вытянуть его в полосу.

Инокля и девушка обменялись взглядом.

У матушки Ирины глаза впалые, темные, снизу желтизной подведенные, у Аленки – не понять, рябые, что ли, по серой радужке светло-карие пятнышки, да и серая ли она? Щеки, конечно, порозовее, чем у пожилой инокини, но волосы так же тщательно упрятаны под плат. И личико – с кулачок.

– Благословите, матушка, начинать, – попросила Аленка, показав на пальцы.

– Бог благословит, душенька ты наша ангельская, – матушка Ирина снова покивала. – Отпросись у своей боярыни, свет. Притчу о талантах, что батюшка Пафнутий толковал, помнишь ли? Накажут того, кто свой талант в землю зарывал. А твоими ручками золотыми разве мужу ширинки вышивать? Да и ширинки ли? Ведь не отдадут тебя за богатого, чтобы сидеть в светлице и рукодельничать. Будешь вот этими ручками порты грязные латать, миленькая! А ими – покровы к святым образам расшивать, пелены, воздухи к потирам, облачения для иереев – Господа славить...

Семнадцать в мае исполнилось Аленке – и уже года два, кабы не более, обещается она отпроситься у своей боярыни, пожить в монастыре послушницей, потом малый постриг принять. Хорошо – боярыня замуж по своему выбору ее не норовит, силком в горнице не держит. И по неделе живет Аленка в келейке у матушки Ирины, рукодельничает себе на радость с прочими сестрами и матушками. Ростом девушка – с малого ребенка, пальчики тоненькие,

глазки остренькие, и шьет так, что залюбуешься. Другим рисунки для вышивки знаменщики наводят, – Аленка сама знаменит не хуже, и стежки кладет махонькие, ровненькие, и цвета подбирает так, что гладь под ее иглой словно на свету вспыхивает и тень от себя дает.

Особливо это заметно в лицевом шитье – когда доверяют девушке святые лики шелками охристого да розоватого цвета расшивать. Так она каждый стежок расположит, что лик живым делается. Умеет Аленка и обвести жемчужной низкой фигуры святых точнехонько, и жемчуг подобрать ровнехонько, и все швы знает – и высокий сканью, и шов на чеканное дело, и шитье в петлю, и шитье в вязь, и шитье в черенки. Посчитали как-то – более полутора десятков швов получилось.

– Я просилась, матушка Ирина, сейчас не пускают, – пожаловалась Аленка. – Говорят, разве дома работы мне мало? Приданое Дунюшке шить, потом Аксиньюшке.

– Господь с тобой, разумница... – Матушка Ирина негромко рассмеялась и прикрыла рот ладошкой. – Твоей Дунюшке девятнадцать лет, перестарочек она. Да и приданое небогатое. Разве на красу кто позарится... А на Москве другие невесты подросли. Вот бы хорошо, кабы ты Дунюшку уговорила постриг принять. И тебе бы тут с подружкой было веселее.

Аленка улыбнулась.

Если бы красавица Дуня, подруженька милая, хоть раз обмолвилась о келье – Аленка бы уж уцепилась за нечаянно изроненное словечко. Чего уж лучше – в монастырь, да вместе с Дуней! Но Дунюшка отчаянно хотела замуж. Еще не зная, не ведая суженого, она уже любила его со всем пылом не девичьей – женской души, уже принадлежала ему и детям. Этой осенью, на Покров, разбудила Дуня Аленку ни свет ни заря, повела в крестовую палату – свечечку перед образом Покрова Богородицы затеплить. Из всех девиц, в доме живущих, ей нужно было успеть первой, чтобы и под венец – первой.

Прочитав положенные молитвы, Дуня, застыдившись, сказала и две неположенные:

– Батюшка Покров, мою голову покрой! Матушка Параскева, покрой меня поскорее!

Аленка повторять не стала – грех и стыд, мало ли каким глупостям научат санные девки или языкастые бабы-мовницы. И вечером, когда после молитвы все безмолвно отходили ко сну, она, поправляя поплавок в лампадке, что в Дуниной горнице, услышала из-за кисейного полога легкий шепоток:

– Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня – женишком...

Услышав бесстыжую Дунюшкину молитву, Аленка покраснела до ушей. Как краснела обычно, услышав срамную песню – из тех песен, что девки в сенях тихонько друг дружке на ухо напевали, фыркая и прикрывая ладошками рты – от смеха. Аленка смеялась редко – во-первых, ничего забавного в том, что вызывало у других хохот, она почему-то не видела, а потом – мал смех, да велик грех.

Представилось перед глазами вовсе непотребное – дядька большой, тяжелый, бородатый, в парчовом кафтане, заваливает на постель милую подруженьку. Не об этом же, в самом деле, просила Дуня?

Покрыть – слово-то какое стыдное...

Но и этой осенью сваты двор стороной обошли. Девятнадцать лет, небогатое семейство, захудалый род – дьячий род, как ни тщишься, а дьячий... Может, отпустят Дуню? Вместе бы и послушание несли. А какое может быть у Аленки послушание? Рукоделие! Никому в монастыре нет резону ее тонкие пальчики на грубой работе губить.

Аленка искренне хотела в монастырь, под крылышко к доброй матушке Ирине. Здесь ее любили, здесь она всех любила, и разве что старшей подруженьки Дуни не доставало бы в стро-гом земном раю, сладостно-безгрешном, где Аленкино искусство было для всех великой радостью, так что не раз сподобилась она похвалы самой матушки-игуменьи Александры. Монастырь предлагал Аленке всё, чего она желала от жизни, и здесь не иссякал мелкий жемчуг в шкатулках, не кончались цветные нитки в мотках, ждали своего часа тяжелые штуки бархата,

турецкого и итальянского, и легкие – тафты и кисеи. Здесь было в избытке всё, потребное для невинного девичьего счастья...

Единственное, что сегодня омрачало радость, – так это холод в большой трапезной, где собирались с шитьем инокини и послушницы, холод и слабый свет. Работать зимой тут можно было лишь с утра, а много ли времени у стариц после ранней обедни? Аленка исправно стояла все службы, и выходило, что два-три часа на рукоделье – вот и всё, что ей обещала по зимнему времени будущая жизнь в монастыре.

Но и стать боярыней, которая целые дни проводит за пальцами, Аленка тоже не могла, не нашлось бы боярина, который заслал к ней сваху. Не дочка, не внучка, не племянница Лариону Аврамычу – воспитанница... Повыше сенной девки-рукодельницы, пониже бедной родственницы, что живет на хлебах из милости. Хорошо, Бог тихим нравом наградил – не в тягость девушке это.

В трапезную вошла послушница Федосьюшка и сразу к матушке Ирине с Аленкой направилась.

– За тобой возок прислали, Аленушка. Домой быть велят единым духом!

Возок? Не так уж далеко Моисеевский монастырь от Солянки, чтобы возника в санки закладывать. И не столь велика боярыня Аленка, чтобы кучера за ней снаряжать.

– Господи помилуй, не стряслось ли чего? – Аленка вскочила, не забыв всё же придержать низку жемчуга. Растечется по полу – ползай потом, жемчуг-то счетом выдали...

– Ах ты, господи! Не ко времени! – покачала головой матушка Ирина. – А как бы ладно тебе остаться тут на Филипповки...

– Да я и сама хотела, – призналась Аленка. Уж что-что, а постное стряпать старицы выучились отменно. Из мирских благ Аленка, пожалуй, лишь лакомства и признавала. Пастила калиновая, малиновые левашки, мазюня-редька в патоке – не переводилось это добро в обители. А в пост – постные лакомства: тестяные шишки, левашники, перепечи, маковники, луковники, рыбные пироги, благо Филипповки – пост светлый, радостный, не строгий, приуготовление к Рождеству Христову...

Лакомка – ну и что? Девичий грех – за него и батюшка на исповеди не сильно ругает.

Аленкина заячья шубка, сукнецом крытая, в келье у матушки Ирины висела. Аленка ею укрывалась. Сперва была это Дунюшкина шубка – подруженька ее тринадцатилетней отроковицей носила. Раньше по обе стороны застежек нашивки с кисточками шли, а как Аленке шубу отдавали – нашивки спорили и припрятали. Аксиньюшке, младшей, бог даст, понадобятся.

Матушка Ирина и Федосьюшка проводили Аленку до крыльца. Дальше не пошли – первого снегу намело, тропинки через обширный монастырский двор не протоптаны еще, а ступить ноги никому неохота. Перекрестили, поскорее возвращаться велели.

Аленка заспешила через двор к калитке, за которой ждал возок. Не великого полета птица, чтобы за ней большую каптану к воротам присылать, возок – и тот для нее роскошь. Узел с добром, что она несла в правой руке, чиркал по снегу.

У самой калитки – то ли тряпья ворох, то ли что... Шевельнулось! Выпросталась рука, осенила Аленку крестом.

– Ты что тут сидишь, Марфушка? – строго спросила девушка. – Ступай в тепло! Тебе поесть дадут. Чего ты тут мерзнешь?

– Согреемся, все согреемся! – грозно предрекла блажененькая. – О снежке с морозцем затоскуем!

И откинула грязный угол плата, прикрывавший ей рот.

– Девушка, а девушка! – позвала она Аленку. – Поди сюда! Хорошее скажу...

Та, робея, подошла поближе. Впрочем, и не миновать ей было Марфушки по пути к калитке.

– Чего тебе скажу, девушка... – Блаженненькая еще раз поманила скрюченным пальцем, но, когда Аленка наклонилась над ней, принялась ее сердито обнюхивать.

– Дурной дух в тебе, девка! Фу, фу... Дочеришка лукавая! – Марфушка удержала за рукав отшатнувшуюся Аленку и вдруг заголосила, истово и радостно: – Ликуй, Исая! Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!..

Аленка рванулась к калитке, но Марфушка держала крепко.

На счастье, посланный за девушкой конюшенный мужик, дядя Селиван, услышал этот вопль и, любопытствуя, осмелился – приоткрыл калитку.

Он увидел, как перепуганная Аленка, уронив узел, пятится по тропке, таща за собой Марфушку.

– Ты что, баба, очумела? – Дядя Селиван без всякого почтения прикрикнул на блаженненькую, отчего она как будто в разум вошла – выпустила рукав шубки. Аленка подхватила узел и метнулась в калитку, дядя Селиван развалисто вышел следом.

– Дура девка, – строго сказал он Аленке. – Совсем ты у чернорясок умом тронулась. Больше ты ее слушай, блаженную! Если бы всё то делалось, что эти дуры вопят, то уж и конец света бы наступил! Молвится же такое – за убиенного пойти! Вот был на Москве юродивый Федор – тот дело говорил...

Он левой рукой отстранил от себя Аленку и размашисто перекрестил ее.

– Я уж боялась, рукав оторвется, – жалобно отвечала Аленка. – Спаси и сохрани, спаси и сохрани...

– Не канючь, дура. Бояра по тебя, глянь, санки послали!

Аленка села и прикрылась полстью, Селиван чмокнул, старый гнедой возник с большой неохотой зашагал быстро – надеялся, видно, что этот шаг сойдет за рысь. Но получил по крупу кнутом – не больно, а для порядка, – и затряхал по накатанному снежку.

Аленка задумалась о своем – не повредили бы, таская пяльцы, с таким тщанием навешенный узор! А когда подняла глаза – санки, миновав и амбары государева Соляного двора, и Ивановскую обитель, вовсю катили по Солянке, и возника не приходилось подгонять – он, глупый, уже чуял родную конюшню и надеялся, что более сегодня трудиться не выйдет.

К большому удивлению Аленки, тяжелые ворота оказались распахнуты – как будто ее ждали. Навстречу, охлупкой на хорошем молодом мерине, выскочил конюх Ефимка и поскакал, не оглядываясь. Что за переполох?

Возок резво вкатился в ворота.

– Наконец-то! – Аленку буквально вынули, поставили в снег прислужники, а возок дядя Селиван споро подогнал к главному крыльцу о двенадцати широких ступенях. Она, чем бежать к теремному крыльцу, окаменела, глядя, что делается.

Суэта творилась страшная – взад-вперед носилась челядь, сразу начали грузить возок. Тут же хозяин, Ларион Аврамыч, теряя и вновь подхватывая длинную шубу внакидку, внушал со ступеней задравшему вверх широкую бороду ключнику – Сеньке Кулаку:

– Скажешь боярину – мол, кланяется Лариошка Лопухин соболями, и лисами, и медом, и рыбой, и сорока рублями, что не забыл, призрел на его сиротство, чадо его единокровное до таких высот возвысил! Скажешь еще боярину – мол, это лишь первые подарочки, потом еще будут! Да стой ты...

Ларион Аврамыч ухватил Сеньку за плечо, и правильно сделал – чуть было не снесли его с крыльца две пробежавшие дородные бабы, в изумлении все порядки позабывшие. Дородство их усугублялось огромными шубами.

Бабы взвизгнули, а в это же время дядя Селиван что-то крикнул от снаряжаемого возка.

– Да к боярину Стрешневу же! – сердито отвечал Ларион Аврамыч. – К кому ж еще! К благодетелю нашему! Сенька, еще скажешь – в поминанье его уже вписал, весь наш род за него молиться будет! До скончания века! А род немалый!

Аленка опомнилась и побежала наверх, к Дунюшке.

Там творился переполох.

Первой Аленка увидела Сенькину жену, Кулачиху. Та, распахивая сенных девок, металась по углам. В левой руке она держала свечу темного воска, правой трижды закрещивала углы.

– Крест на мне, крест у меня! – не шептала, как полагалось бы, а возглашала она. – Крест надо мной, крестом ограждаю, крестом сатану побеждаю от стен четырех, от углов четырех! Здесь тебе, окаянный, ни чести, ни места, всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

Посреди светлицы стояла красавица Дунюшка, в одной рубашке, распояской, и простоволосая, без повязки, темно-русая коса на спину откинута. Глаза у девушки закатились, того гляди – грохнется без чувств.

– Занавески на окна! Суконные! – шумела, перекрикивая Кулачиху, мамка Захарьевна. – Чтоб и солнышку не глянуть! А ты, дитятко, поди, поди сядь, не вертись в ногах!

Она силком усадила на подоконную скамью тоненькую, но уже высокую и круглолицую, как старшая сестра, Аксиною. Девочка шлепнулась, сложила перед собой руки, кулачок к кулачку, и, приоткрыв рот, водила огромными глазами вправо и влево.

– Да где ж вода?! – раздался пронзительный голос постельницы Матрены. – Боярыня обмерла!

И впрямь – в глубине светлицы, так что за углом изразцовой печи и не разглядеть, на постели Дунюшкиной сидела, привалившись к столбцу полога, еще не старая, но уже завидной дородности хозяйка, Наталья Осиповна, а тощая Матрена с немалым трудом ее удерживала.

– Кто мовниц выпустил? – вдруг возмутилась Кулачиха. – А ну, пошли, пошли в свою мовню, бабы! Незачем вам тут быть!

– Мы к ручке припасть! К боярыне с боярышней! – попыталась оправдаться старшая из них, Фетинья. – В такой-то день – да не припасть?...

– Идите, идите! Я вас знаю, вы у себя в мовне с нечистой силой знаете! Кто Авдотью Ларионовну на святки подговаривал в предмылье ночью в зеркало смотреть, беса тешить? Тот!

Аленка всё еще ничего не понимала.

Наконец яростная Кулачиха и ее заметила.

– Вернулась, богомолица? – накинулась она с ходу на девушку. – А ну, раздевайся и за работу! Сейчас вот углы закрещу, дур этих выставлю – рубашку жениху кроить будем! Ширинки расшивать нужно! Приданое перебирать!

– Разве Дунюшку засватали? – без голоса спросила Аленка.

– Машка! Машка! Беги к боярыне в спальную! Да стой, дура! Вот ключ от сундука! Тащи сюда два кокошника, те, что с острым верхом! В холстины завернуты! Нет, стой! Возьми лучше ты, постница, – она сунула Аленке ключ. – Возьми кокошники, там же спори с них жемчуг! Спори и сочти – другого-то у нас подходящего нет... И на низку, чтобы не повредить! Как спорешь – рубашку кроить! Машка! Беги в крестовую, тащи сюда образа! В лучших окладах!

– Засватали... – потерянно и уже вслух повторила Аленка.

– Молебен, про молебен забыли! – всполошилась вдруг мамка Захарьевна. – Машка, Машка! Беги скорее на двор, скажи Кулаку – пусть кого пошлет, пусть бы тот холоп до Ивановской обители добежал, молебен заказал во здравие! И ко Всем святым, что на Кулижках! И к Богородицержедевской! Это ему всё по пути выйдет! Да пусть к угоднику Николаю, что в Подкопаях, завернет!

– Да Машка же! – закричала и Матрена. – Принесешь ты воды, проклятая, нечистый тебя заberi?

Кулачиха и Захарьевна разом повернулись к Матрене.

– Ты это какие неистовые слова выговариваешь? – грозно на нее наступая, начала Кулачиха. – Да как тебе на ум взбрело нечистого поминать при государевой невесте?

Аленка так и села на скамью рядом с Аксинышкой.

– Аксинышка, голубушка, да что же это делается? – спросила она, даже не шепотом – так раскричались Кулачиха с Захарьевной на бедную Матрену.

– К нам сама царица приезжала, – округляя черные глаза, отвечала девочка. – Тайно, в простом возке! Государыня! У нее шапочка соболья, не треух – шапочка! Я тоже такую хочу. Дуню во дворец повезут! В царский!.. Она ее всю смотрела!..

– Царица, к нам?...

Аленка помотала головой – такое можно было услышать разве что во сне. Но наваждение не проходило. Женщины, набившиеся в Дунюшкину светлицу, заволокло галдели. Машка металась, вовсе ошалев и ничьих приказов не исполняя.

– Господи Иисусе! – прошептала Аленка.

В том, что опальной царице Наталье Кирилловне пришла на ум Дуня Лопухина, ничего удивительного не было – и шести лет не прошло, как она, царева вдова, жила круглый год в Кремле и имела при себе до трех сотен женской прислуги, тогда и Дунюшка успела пожить среди юных боярышен царицыной свиты. Странно было иное – ведь царь должен выбирать себе невесту из многих красавиц. Раньше отовсюду девок хороших родов в Кремль свозили и они там неделями жили, сам покойный государь так-то оба раза женился. А чтобы царица тайно, в простом возке, по невесту отправилась?... Без свахи? И сразу же сговорили? Да разве же так правят царскую радость?

Очевидно, Дунюшка от всего шума и гвалта несколько опаматовалась и заметила наконец, что на лавке под высоким слюдяным окном, не достигая головами даже до занавески, смиренно сидят рядом Аксинышка и Аленка.

– Аленушка, подруженька! – Дуня оттолкнула мамку Захарьевну и устремилась к окну. – Что делается, Аленушка?! Я тебя с собой в Верх возьму! Аленушка, счастье-то!..

Аленка, вскочив, ухватила Дуню за руку.

– Бежим в крестовую, Дунюшка! – не попросила, потребовала она. – Помолимся вместе!

– Аленушка! – Глаза у царевой невесты были шалые. – У него кудри черные, брови собольиные! Он всех выше, статнее!..

Но у двери подружек перехватила Кулачиха.

– Никуда ты, матушка Авдотья Ларионовна, из своей светлицы не пойдешь! Тут под строгой охраной сидеть будешь, покуда в Верх не возьмут! Чтобы не сказали, что у нас по недосмотру царева невесту испортили! А ты, постница!..

Она замахнулась было на Аленку, но Дунюшка отвела ее руку. И так посмотрела в глаза Кулачихе, что та отступила и поклонилась – не то чтобы очень низко, а сразу с достоинством и покорностью, каковые объединить в одном поклоне ей до сих пор никогда не удавалось.

– Я, Дунюшка, за кокошниками схожу, чтобы мелкий жемчуг спороть, – торопливо, чтобы из-за нее не возникло бабьей смуты, сказала Аленка и добавила со значением: – Рубашку женихову государю вышивать!

Она выскочила из светлицы.

Переходами она пробежала в сени и увидела там хозяина, Лариона Аврамыча с младшим братом Сергеем Аврамычем. Оба, статные и крепкие, в похожих шубах, одинаково выставляли вперед плоские и широкие бороды, так что человеку непривычному недолго было и спутать.

– За сестрой Авдотьей послано, – говорил Ларион Аврамыч, – за братом Петром послано...

– Всех, всех собери немедленно, – тряся бородой, твердил, словно мелкие гвозди вбивал, Сергей Аврамыч. – С холопьями конными, со всей оружейной казной, сколько ее у кого дома есть. Заклюют, если девку не убережем, сошлют, куда Макар телят не гонял...

– Да уймись ты! – прикрикнул на него старший брат. – Пока Дуньку в Верх не заберут – сам с саблей буду ночью по двору ездить!

– Дуньку? – переспросил младший братец. – Государыню всея Руси великую княгиню Авдотью Ларионовну – более она тебе не Дунька!

– Авдотья, да не Ларионовна. Государыня Наталья Кирилловна, уезжая, сказала, что мне теперь, видно, не Ларионом, а уж Федором быть.

– Федором? Ну, Федором – это еще ладно... – с некоторым сомнением сказал Сергей Аврамыч. – Вон когда у Салтыковых Прасковью в Верх брали, за государя Ивана, Лександра Салтыков тоже на Федора имя переменял. С чего они там, в Верху, взяли, что все царские тесты непременно должны Федорами быть?

Аленка, не решаясь пройти мимо осанистых бояр, подумала, что беда невелика – царского тестя могли назвать и как-нибудь похуже.

Тут на лестнице послышался топот, и в сени взошел еще один брат Лопухин – Василий. А всего их было шестеро.

– Господи, благослови! Дождались светлого дня! – возгласил он, раскидывая широкие объятия. – Дождались! Не напрасно батюшка в дворецких у государыни столько лет прослужил! Запомнила она, матушка, честную службу! Теперь нам, Лопухиным, – простор!

– Государь молод и глуп, – сказав это весьма отчетливо, Сергей Аврамыч оскалился, беззвучно смеясь. – Государь в Преображенском, как дитя малое, потешными ребятками тешится. Шесть сотен бездельников и дармоедов по окрестным оврагам гоняет под барабан, свирелку да рожок! От дворцовой службы отрывает. Еще немного – и, почитай, полк образуется!

– Молчи, не сглазь!.. – напустились на него старшие братцы. – И подоле бы провозжался с теми холопами государь Петр Алексеич!

– Не образумит его женитьба, ох, не образумит, – радуясь цареву беспутству, продолжал младший Лопухин. – Дунюшка хоть девица и спелая, однако норовом он не в покойного государя – не станет дома сидеть да детей плодить, помяните мое слово.

– Дунюшка наша на два года постарше, сумеет управиться, – сказал Петр Аврамыч.

– На три, – поправил царский тесть. – За то и взята. Наталья Кирилловна, матушка наша, извелась – от рук отбилось чадо... А в чадушке – сажень росту! Однако, что это мы в сенях? Я вот велю в столовой горнице стол накрыть! Пойдем, братики, пойдем, выпьем – возрадуемся...

Аленка, дождавшись их ухода, проскочила в покои, которые занимали Ларион Аврамыч с Натальей Осиповной, и обрадовалась – хоть там было тихо и пусто.

Она подняла тяжелую сундучную крышку и достала завернутые в холстины два указанных кокошника. Затем присела в задумчивости на тот же сундук.

Дунюшка станет царевой невестой!

Ее поселят до венчанья в Вознесенском монастыре, как положено, и одному Богу ведомо – удастся ли Аленке навестить ее там. Беречь ведь станут яростно! Есть кому испортить невесту государя Петра, есть. Правительница Софья, небось, локти себе кусать станет, как проведает, что Дуню Лопухину за братца Петрушу сговорили. Сейчас-то она всем заправляет с советниками своими, князем Василием Голицыным и Федькой Шакловитым, а на Москве не зря поговаривают, что и с тем, и с другим вышло у нее блудное дело. И царя Петра с царем Иваном она лишь тогда зовет, когда заморских послов принимать надо или большим крестным ходом идти.

Хитрит Софья – поспешила братца своего Иванушку женить, чтобы он первым наследника престолу дал. У государя Алексея Михайлыча от Марьи Милославской тринадцать, кабы не соврать, было чад, а потом троих родила ему молодая Наталья Нарышкина. Софья и разумеет, что царь из Иванушки – как из собачьего хвоста сито, разумом Иванушка скорбен, и не хочет, чтобы ее родня власть упустила. Оба они с Иванушкой – от рода Милославских, и покойный государь Федор, и все царевны-сестры, весь Терем, – от рода Милославских, а Петр – от рода Нарышкиных.

Дождалась Наталья Кирилловна, вырос бойкий да разумный сынок – и перехитрила она Софью. Теперь оба государя-соправителя будут женатые, а стало быть, и взрослые мужи. Иванушке-то безразлично, а для Петра женитьба – дело важное, отлагательства не терпящее. Одно – царенок, что потешных по оврагам гоняет, другое – муж, а ежели еще Дуня первая родит чадо мужского полу – так и вовсе победа одержана!

Софья-то хитра – женила Иванушку на Прасковье Салтыковой да и озаботилась, чтобы оказался у государя Ивана в постельничьих Васька Юшков – красавец черномазый. А Наталья-то Кирилловна хитрее – Дунюшку высмотрела. Уж коли Дунюшка государю сынов не нарождает, то кто же? Дуня тихая, ласковая, послушная, рукодельница, красавица – чего же еще?

Одно плохо – не сманить теперь Дунюшку в обитель. И раньше-то на это надежды было мало... Да и какая из нее невеста Христова?

Тут на ум Аленке ни с того ни с сего пришел радостный крик, которым проводила ее с монастырского двора безумная Марфушка:

– Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!

Вдруг Аленка поняла, что эти слова означают.

Марфушка предвидела, что ей предстоит стать Христовой невестой.

Аленка и сама хотела того.

Сейчас же, сидя на сундуке с двумя кокошниками в руках, она вдруг поняла, что Марфушкино предсказание сбудется не так уж скоро. Ведь ежели Дунюшка возьмет ее с собой, в Верх, и поселит там с царицыными мастерицами, что чудеса творят в знаменитой царицыной Светлице, то на богомолье отпроситься – и то будет немалая морока.

Впрочем, сейчас не было времени беспокоиться о будущих неприятностях.

Как и положено перед всяким делом, Аленка нашла взглядом образа.

– Господи, помоги! – попросила она вслух.

Темные лики еле виднелись, окруженные серебряными окладами с припаянными самоцветами.

Дунюшка в предсвадебной суматохе обмирала от мечты о кудрявом женихе с соболиными бровями...

Аленкин жених глядел на нее, как из мрака в серебряное окошко.

И вдруг девушка поняла, что он у нее – иной, что свет исходит от его лика и золотых волос.

Озарение было мгновенным.

Как будто солнце глянуло из-под темных бровей глубокими, несколько впалыми и раскосыми глазами!

Аленка зажмурилась.

А когда она открыла глаза – лики взирали отрешенно и строго. И не было в них внезапной золотой радости...

А был укор – тебя, бестолковую, за делом послали, не сидеть зажмурясь!

Аленка вздохнула – уж очень всё сложилось быстро да некстати...

* * *

Впопыхах женили государя Петра Алексеича. Обвенчали его с Дуней Лопухиной 27 января 1689 года. А почему спешка? А потому, что супруга государя Ивана Алексеича, Прасковья Федоровна, всё не тяжелела да не тяжелела, а тут вдруг возьми и затяжелей. Наталья Кирилловна засуетилась. И без того морока, когда в государстве два как бы равноправных, а на деле одинаково бесправных царя. И без того только и жди пакостей от старшей сестрицы обоих государей, Софьи, которая с того дня как помер государь Алексей Михайлович и возшел на трон старший из царевичей, Федор Алексеич, загребала да загребала под себя власть. А

коли у Ивана у первого появится наследник, то как бы любезная Софьюшка не исхитрилась да не сотворила так, что дитятку престол достанется. Разумеется, пока дитятко в разум войдет, править будет она – тетушка, как правила все эти годы при двух царях-отроках.

Всё шло к тому, чтобы Петра отстранить, да только родилась у Прасковьи 31 марта 1689 года девочка – царевна Марья. Пожила недолго – 13 февраля 1690 года и скончалась. И вовремя поторопилась умница Наталья Кирилловна – хоть государственного ума бог не дал, зато по-бабы была хитра.

Петру не жениться хотелось, а делом заниматься. Дело же у него на Плещеевом озере под Переяславлем-Залесским, а это сто двадцать верст от Москвы. Раньше когда государь в богомольный поход подымался, то пять десятков колымаг, да сто телег обоза, да стрелецкий полк хорошо коли за две недели туда добирались. С великим достоинством ехали, не так-то – за три дня...

После того как в Измайловских амбарах, где хранилась рухлядь двоюродного дяди царского, Никиты Ивановича Романова, отыскалось суденышко, именуемое «бот» и способное ходить под парусом против ветра, стал Петр Алексеич искать ему воду под стать. У Язуы берега тесны, Просяной пруд в Измайлове немногим более того, устроенного в верховых кремлевских садах, где трехлетний Петруша на карбасике катался, чтобы батюшку Алексея Михайловича потешить.

Нашлась большая вода, нашлось и место, где ставить верфь, устье реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро. Тут только и развернуться! Озерцо – тридцать верст в окружности, глубина превеликая. А матушка женить собралась... Петр и разобрать не успел, каково быть женатым, как началась Масленица, за ней Великий пост – и им с Дуней уже стелили отдельно.

Как только в апреле высвободилось из-под льда озеро, так Петр и ускакал свои корабли строить. Наталья Кирилловна беспокоилась сильно, а Дуня – того сильнее! Прискакал – обрадовалась было, да только не миловаться, а потешных с барабанами и свирелками гонять по Лукьяновой пустоши. Три дня там пропадал и всех молодых спальников да стольников с собой увел, включая малолетнего князя Мишеньку Голицына. Его по младости в барабанную науку определил.

Лишь потом явился справить свою царскую радость – и с тех коротких майских ночей затяжелела Дуня.

Противостояние между правительницей Софьей и Петром сохранялось, однако, по-прежнему. И конца-края ему не предвиделось. Правда, что было, то было: однажды оба государя и правительница объединились для важного дела – совместно послали грамоту купцам Строгановым по тому поводу, что у купцов-де есть в церквах хорошие певчие, так прислали бы в Кремль...

Но вообще дела у царской семьи складывались, как если бы посадские бабы склоку затеяли.

8 июля в Кремле положили устроить крестный ход с участием обоих царей, со святой иконой во главе. Когда собрались – оказалось, что и правительница Софья со свитой за иконой готова последовать. Когда такое бывало, чтобы царевны среди мужчин пешком хаживали? Петр рассердился, потребовал, чтобы сестрица удалась в Терем. Она отказалась. Тогда Петр, возмущившись, прямо из Кремля ускакал в Коломенское...

А он и так-то на Москве был редким гостем.

25 июля его ждали в Терему к именинам тетки, Анны Михайловны, а он в этот день затеял переезжать из Коломенского в Преображенское. Сам – или государыня Наталья Кирилловна его надумила? Бог весть...

Бабы склока заменила в те годы государево правление. И то, когда ж бывало, что в Кремле четыре царицы, одна царевна-правительница и два устраненных от дел юных царя: один – по умственной и телесной неспособности, другой – по молодости лет? А царицы –

вот они! Самая старшая – вдова государя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, роду Нарышкиных. Затем – вдова государя Федора Алексеича, Марфа Матвеевна, роду Апраксиных, что в обитель не ушла, а так в Верху и осталась. Затем – государыня Прасковья Федоровна, роду Салтыковых, супруга маломощного государя Ивана. И, наконец, государыня Авдотья Федоровна, Дуня, роду Лопухиных. И от того, как эти особы и их многочисленная родня между собой ссориться и мириться станут, судьба огромной державы зависит... Ни до, ни после такого не бывало.

27 июля государь Петр Алексеич отказался допустить к себе князя Василия Голицына и других воевод, пришедших благодарить за награды. И то – не он им те награды давал, а, как бы от имени обоих безвластных царей, Софья. А заслужили ли они царскую милость, вернувшись из неудачного Азовского похода, узнать мудрено. Те, кто поддерживал Софью, кричали, что поход удался. Те, кто был за Нарышкиных, кричали, соответственно, наоборот. Самое любопытное – по сей день неясно, что такого сотворил в походе воевода Голицын. Триста лет все были уверены, что он привел русское войско к поражению. А потом засомневались...

Собственно, у Софьи, уверенной в своих стрельцах, не было большой причины для беспокойства. Петр, дай ему волю, так бы и пропадал на Плещеевом озере со своими ботами, баркасами и любезным наставником Карстеном Брантом, которого еще при государе Алексее Михайловиче выписали из Голландии для постройки в Дединове кораблей, способных выходить в открытое море. Да, Тишайший государь тоже втихомолку морем бредил – он даже писал герцогу Курляндскому Якобу, осведомляясь, нельзя ли строить российские корабли в его гаванях. И любопытно, знал ли он, что по морям, омывающим берега Франции, Испании и Африки, шастают хищные корабли, несущие странный флаг – на красном поле черный рак с преогромными клешнями, и что те пираты подвластны именно Якобу?

Итак, затянувшееся противостояние. Но с чего вдруг Софье взбрело на ум, что Петр собирается с потешными брать приступом Кремль? Бояться за власть свойственно и монархам, и женщинам, но не до такой же степени? Сколько в Преображенском потешных и сколько на Москве стрелецких полков? Однако Софья сочла нужным пожаловаться стрелецким начальникам на то, что царица Наталья снова воду мутит, и в очередной раз пригрозить – коли она с сестрицами более стрельцам не годна, то теремные затворницы готовы дружно оставить свое бунташное государство. Куда бы они отправились, если бы стрельцам вдруг надоела обветшавшая за много лет угроза, – это, наверно, и самой Софье в голову не приходило.

К тому времени на Москве за ней числили двух избранников – князя Василия Голицына и Федьку Шакловитого, который и развил бешеную деятельность – собирал в Кремле сотни вооруженных стрельцов, посылал в Преображенское лазутчиков, толку от них не добился, сам туда отправился, был арестован людьми Петра, сразу же выпущен... Словом, мелкая возня, которая грозила этак затянуться надолго. Должно было произойти нечто, задуманное для нарушения опостылевшего равновесия.

Наступил август 1689 года.

* * *

Стол был длинный – едва ли не во всю светлицу, и чего только на нем не разложили! До штуки тонкого полотна, который день тут лежащей, приготовленной, чтобы сорочки наконец скроить, и руки не доходят, ларцы рукодельные закрыты стоят, перед каждой мастерицей – свои узелки с пестрыми лоскутьями, суконными да холщовыми. Уморили починкой, будь она неладна! Не до тонких рукоделий девкам – царские стольники уйдут с богоданным государем чистехонькие, вернутся через неделю, словно с Ордой воевали, живого места на них нет. Который кафтанишко саблей пропорол, который гранатой пожгли...

Досталось этой починочной радости и Аленке.

Боярыни пуше всего следили, чтобы лоскутья на заплатки цвет в цвет подобраны были. Хоть и опальный двор в Преображенском, а негоже, чтобы царевы люди в отрепьях позорных ходили, недругам на злорадничанье. Сама государыня Наталья Кирилловна за этим присматривала.

Но нет худа без добра – если бы девки сейчас дорогие заморские ткани кроили, персидские или иранские, если бы волоченым золотом пелены расшивали, если бы жемчуг низали, то расхаживали бы вдоль стола верховые боярыни, строго наблюдая порядок и блюдя всякое жемчужное зернышко, особливо – кафимское или бурмицкое, с горошину, за мелкий же семенной не так ругались.

Сейчас одни верховые Натальи Кирилловны боярыни вместе с ней и с государем в Измайлово укатили – справлять именины молодой царицы, Авдотьи Федоровны, другие в царицыных хоромах странницу слушают, и девкам можно вздохнуть повольнее. Верховые! Были верховыми – да Верх в Кремле остался... Царицына Светлица! Была Светлица, а теперь так, огрызочки. Кто из мастериц в Москве при правительнице Софье остался, кого Наталья Кирилловна с собой по подмосковным возит – из Измайлова в Преображенское, из Преображенского в Коломенское, а оттуда – в Алексеевское, а оттуда – к Троице. И Москву девки только зимой видят – когда не очень-то в летних царских дворцах погреешься.

У иной боярыни, как поглядеть, светлица не хуже, и жемчуг не мельче, и золотное кружево не уже, и знаменщики, может, почище кремлевских.

Карлица Пелагейка в потешном летнике, сшитом из расписных покровок, всё же крутилась поблизости. Боярыню хоть сразу видно, да и пока она к тебе подплывет... А эта кикимора на коротких ножках вдруг вынырнет из-под стола – и окажется, что всё она слышала, всё уразумела, а не откупишься – на смех поднимет, коли не донесет...

Аленка Пелагейки не боялась. Во-первых, ни в чем дурном пока не была замечена, а во-вторых – едва ли не лучшая рукодельница из молодых, да и у старых мастериц всегда готова поучиться, сама государыня хвалила за кисейную ширинку паутинной тонкости, по которой был наведен нежнейший и ровнейший узор пряденым золотом. А легко ли такую кисейку в пальцах не перекосить?

Одно ее тут допекало – девичьи тайны.

Когда в одной подклети ночует десятка с два девок да молодых вдов, когда нет за ними ни родительского, ни мужнего присмотра, а за стенкой – молодые парни подходящих лет, тоже без присмотра, то что на уме? Вот то-то и оно, что это самое – стыдное...

Работая, девки-рукодельницы тянули песню, и не от большой любви к пению – пока все поют, двум подружкам удобно втайне переговорить, склонившись низко, как бы упрятавшись за два составленных вместе высоких ларца со швейным прикладом.

– Что у ключика у гремучего, что у ключика, у гремучего, у колодезя у студеного, – повела новую песню Феклушка, девка, которую, видно, за песни в царицыну Светлицу и взяли, потому что от ее работы Аленка лишь сердито сопела. Она сидела на дальнем конце стола, подальше от пожилых, но Аленка ее видела.

– У колодезя у гремучего, – поддержали прочие пока еще нестройно, прилаживаясь. Песня была какая-то новая – Аленка, во всяком случае, такой не знала.

– Добрый молодец сам коня поил, добрый молодец сам коня поил, красна девица воду черпала!.. – вывела озорная девка с непонятым Аленке торжеством.

– Красна девица воду черпала! – подхватили мастерицы уж повеселее.

Пелагейка показала над краем стола широкое щекастое лицо, которому красная рогатая кика с медными звякушками шла примерно так же, как корове седло.

– Почерпнув, ведры и поставила, почерпнув, ведры и поставила, а поставивши, призадумалась, – продолжала Феклушка, всем голосом и повадкой показывая это горестное девичье раздумье.

– А поставивши, призадумалась... – Аленка и сама не поняла, как это случилось, что она, молчунья, вдруг стала подтягивать.

– А задумавшись, заплакала, а задумавшись, заплакала, а заплакавши, слово молвила... – в Феклушкином голосе была такая великая и внезапная печаль, что Аленка и вовсе душой воспарила.

Она, приоткрыв рот, уставилась на певунью, и в голову пришла мысль, для нее, живущей среди девок как бы наособицу, вовсе диковинная. На дне рабочего ларца лежали припрятанные сласти – завернутые в бумажку леденцы, маковник в лоскутке, иные заедки, которые от хранения не портятся. Аленке вдруг захотелось подарить Феклушке хотя бы леденец. Она только не знала, как бы совершить это, чтобы и втайне от прочих, и по-хорошему.

А песня длилась. Девушка завидовала тем, у кого есть семья в полном составе, поскольку у нее, у красной девушки, ни отца не было, ни матери, ни брата, ни родной сестры, ни того ли мила друга, мила друга – любовника...

Тем песня, к Аленкиному недоумению, и кончилась.

Услышав, в чем же на самом деле заключалась девичья печаль, мастерицы, затосковавшие было, переглянулись, перешепнулись, и тут лишь Аленка сообразила, что всё дело-то в царевых конюхах, о которых только и разговору было ночью в подклети, на тесно сдвинутых войлоках.

Сразу ей расхотелось дарить Феклушке леденчик.

А ведь что-то этакое сделать следовало. Все девки были здешние, бывших мастериц дочери, в царицыной Светлице выросшие, одна Аленка – со стороны, новой царицей да новой ближней боярыней, Натальей Осиповной, приведенная.

Дал бы ей Бог нрав полегче да пошустрее, заглядывалась бы и она на статных всадников в светло-зеленых кармазинных кафтанах, выезжавших с молодым государем, – проще бы ей жилось.

Рядом оказалась Пелагейка – и тут уж держи ухо остро, может и стянуть нужную вещицу. Аленка подвинулась на скамье, подальше от пронырливой карлицы.

Тем временем Феклушка, кинув взгляд за дверь и хитро прикусив губу, подмигнула сразу двум мастерицам напротив – грудастой до удивления Фроське и Стеше-беленькой.

Девки, едва ль не ложась на стол, подвинулись к ней, глядя прямо в рот.

– Что не мил мне Семен, не купил мне серег, что не мил мне Семен, не купил мне серег, – вполголоса веселой скороговоркой завела Феклушка.

– А что мил мне Иван, он купил сарафан, а что мил мне Иван, он купил сарафан! – быстро и в лад пропели все трое. Озорством потянуло от них, устали от благонравия шальные девки.

– Он на лавку положи, да примеривать стал, он на лавку положи, да примеривать стал! – негромко и стремительно подхватили все мастерицы, торопясь, как бы за лихой песней их не застали. – Он красный клин в середку вбил, он красный клин в середку вбил!..

И буйно расхохотались – все разом!

Аленка изумилась глупости этой короткой песни и сразу же уразумела, что означают последние слова. Огонь ударил в щеки.

Аленка быстро закрыла лицо ладонками.

Пелагейка схватила ее шитье, зеленый становой кафтан с наполовину выдраным рукавом, и скрылась с ним под столом.

Аленка соскользнула с лавки туда же и, стоя на корточках, ухватила за другой рукав.

Пелагейка свою добычу не удерживала.

– Охолони... – шепнула карлица и вынырнула по ту сторону стола, возле вдовушки Матрены, женщины основательной и богомольной, к девичьим шалостям притерпевшейся.

Аленка так и осталась на корточках под столом.

Скорее бы Дунюшка приехала!

Три дня назад государь Петр Алексеич увез свою Дуню в Измайлово, а сегодня уж Преображенье... Вроде должны вернуться.

Аленка выбралась наружу, оглянулась – никто, вроде бы, на нее внимания не обратил. И, не отпращиваясь, выскользнула из горницы.

Она решила заглянуть в столовую и в крестовую палаты – вдруг там бояре уж готовятся государя с Дунюшкой встречать?

Не заметив, что следом за ней крадется и Пелагейка, Аленка переходами понеслась к столовой палате.

Август выдался жаркий – двери, для избавленья от духоты, не запирались. Сквозняк заметно колебал суконные дверные занавески.

Аленка осторожно заглянула в палату и увидела там на лавках вдоль стен осанистых бояр – нужды нет, что правительница Софья присылала сидеть к Петру тех, кто поплотше родом и чином. Они исправно скучали в Преображенском, а случалось – и в Коломенском, всюду, куда переезжала опальная царица с малым семейством. И по любой жаре вносили в царские сени плотный стан в долгополой шубе, закинутую назад голову в горлатной шапке, едва ль не в аршин высотой, прислоняли к стене у скамьи посох с причудливой рукояткой и усаживались на полдня, а то и на целый день с достоинством, пригодным для приема иноземных послов. Вот только на то малое время, что Наталья Кирилловна с сыном и дочкой Натальюшкой проводила зимой в Кремле, делались они как бы пониже ростом, и шубы тоже как бы поменьше места занимали, ибо там, в Кремле, были другие бояре, родом и чином повыше, поделившие промеж себя лучшие куски большого придворного пирога.

В сенях было трое, но, взглядевшись, Аленка обнаружила, что третий – князь Борис Голицын, и что он спит, привалившись к стене, а на коленях имеет большую разложенную книгу. Надо полагать, спал он не с усталости, а с хмеля – эта его добродетель царицыным девкам-мастерицам давно была известна. Хорошо было попасться Борису Алексеичу хмельному в темноватом переходе меж теремами – облапит, обтискает, вольными речами насмешит, алтынном одарит и отпустит с хохотом.

Не задумавшись, почему бы князюшка, вместо того, чтоб пировать в Измайлове, спит себе в Преображенском, Аленка втиснулась в палату и ловко уместилась промеж занавесок.

Бояре же, усевшись вольготно – то есть, поставив на лавки рядом с собой тяжелые шапки и оставшись в одних тафейках на плотно остриженных седых головах, вели втихомолку речи, за которые недолго было бы и спиной ответить, кабы нашлось кому слушать. Голицын же вполне явственно спал.

– А то еще говорят, будто царенок наш – не царского вовсе рода, – сказал с опаской плотный, поперек себя шире, боярин, чей живот с немалым, видно, трудом приходилось умащивать промеж широко расставленных колен. – Ты посмотри – в покоях чинно не посидит, уважения не окажет.

– И какого же он, как ты полагаешь, Никита Сергеич, рода? – заинтересовался другой, старавшийся сидеть похоже, но живота подходящего не имевший. Впрочем, для Аленки все они, одинаково длиннородые, были на одно лицо, и различала она их разве что по шубам, соболиным и лисьим, крытым сукнами разных цветов. – То, что он на покойника государя Алексея Михалыча не похож, мы и сами видим. В нем, в окаянном, росте – на двух покойников хватило бы, мне государь вот посюда был, а этому я – посюда!

Боярин показал себе на плечо, сперва чуть повыше, потом чуть пониже.

– Я о том и толкую, что ни в царском роду, ни у Нарышкиных такого не водилось! – обрадовался собеседник. – Вот разве что братец государынин, Лев – богатырь. А знаешь ли, кого называют? То сатанинское отродье – Никона...

– Никона? Да ты, Никита Сергеич, с ума, чай, съехал! – От изумления боярин забыл и голос утишать. – Никона! Да ты вспомни, где тогда Никон-то был! Он, охальник и греховод-

ник, в Ферапонтовом монастыре грехи свои замаливал! Да и сколько ему, Никону, тогда лет сровнялось? Совсем уж тухлявый старец стал...

– Кто, Никон – тухлявый старец? А не попался ли тебе, Андрей Ильич, доносец его келейничка, старца Ионы?

Тут Алена вспомнила прозвание этого престарелого сплетника, обзававшего греховодником опального и давно помершего патриарха Никона. Был он роду Безобразовых, а на государственной службе оказался еще при царе Михаиле. То, что при столь преклонных летах он не выслужился выше стольника, много о чем сказало бы более искушенной в придворных нравах мастерице, но не Аленке.

– Что еще за старец Иона? – высокомерно осведомился Андрей Ильич.

– То-то, вольно тебе, свет мой, сумасбродами добрых людей честить. А дела и не знаешь. Патриарх наш бывший в келье у себя содом и гоморру завел.

При мысли о таковом непотребстве оба собеседника перекрестились, прошептав: «Спаси, господи!»

– Я тот доносец видел, мне его покойный государь за диковинку показывал. Посмеялись... Вот она, блудня-то, когда из него повылезла! – возгласил Никита Сергеич. – Он ведь до чего додумался? Он, еретик поганый, проповедовал, что надобно освященным маслом все уды помазывать, и что в тайный уд, где животворящим крестом не заграждено и маслом не помазано, бес вселяется. И это самое он и творил – прости, господи...

Но Андрей Ильич явственно призадумался, приоткрыв рот и как бы оценивая затею ссыльного и лишенного сана патриарха с приведением разумных доводов в ее пользу.

– Да я к чему клонил-то? – обеспокоенный таковой задумчивостью, быстро продолжал Никита Сергеич. – К нему в крестовую келью приходили женки и девки как будто для лекарства, а он с ними сидел один на один и обнажал их донага будто для осмотра больных язв – прости, господи!

– Прости, господи! – торопливо согласился старенький стольник Безобразов.

– И к нему то дьячок, то служка по его приказу ночью тайно женку водил. А ты говоришь – дед тухлявый! Легко так-то, не знаючи...

– Про Никоновы блудные дела я и до того ведал, – приосанясь, отвечал Андрей Ильич. – Еще когда покойный государь его на патриаршество уговаривал, на коленях перед ним стоял, он, сукин сын, кобенился, и тогда же подвели ему Анну, сестру Большого Ртищева, и с ней укладывали, а это ведь уж даже не блуд, а прямое прелюбодеяние – Анна-то за Вельяминовым замужем была! Это всем ведомо. А только к царенку нашему он, как бы мы ни желали, отношения не имел – его и на Москве-то в те поры не было!

– Как же? – расстроился Никита Сергеич. – Неужто врут люди? Явственно же говорят – Никон, Никон!

– А не ослышался ли ты часом? – прищурился вдруг Андрей Ильич. – Может, не Никон то был, а Тихон? Стрешнев Тихон Никитич? Который потом в воспитатели к царевичу был назначен? Вот про него я нечто подобное слыхивал... Был при государе Федоре Алексеиче стольником, похоронить государя не успели – пожалован спальником, а как нашего царенка с царем Иванушкой на царствие венчали, он уж царским дядькой был и под левую руку его в Собор вел! А на следующий же день в околичны бояре пожалован! Как ты полагаешь – ведь неспроста это? А, свет?

– Да что ж я, совсем с ума съехал, чтобы Никона с Тихоном спутать? – возмутился Безобразов. – Да что ж это такое делается? Свет Борис Алексеич! Рассуди хоть ты нас, ведь этот изверг меня непутем честит!

Никита Сергеич шарахнулся от Безобразова, замахал на него длинными спущенными рукавами – мол, опомнись, при ком непотребные речи развел! Голицын же, не раскрывая глаз, проворчал нечто, чего не можно было уразуметь.

– Ты что на меня машешь? Ты что мне рот затыкаешь? – вовсе позабыв о приличиях, воскликнул Безобразов. – Я до государя дойду!

– До которого? Ежели до государя Ивана, то ступай, скатертью дороженька! А то у нас еще государыня Софья есть – ждет тебя не дождется!

Голицын счел нужным проснуться.

– Слушать вас обоих скучно, – сказал он. – От баб своих, что ли, этих дуростей понабрались? Ведь доподлинно известно, когда Петр был зачат. Наутро после той ноченьки ученый чернец Симеонка Полоцкий ни свет ни заря к государю Алексею Михалычу пожаловал с воплями – мол, звезда невиданная явилась и славного сына предвещает! А государь в мудрости своей и день зачатия, и обещанный день рождения записал и к дому Полоцкого караул приставил. Государю-то, чай, виднее было, кто с царицей ту ночь ночевал!

Бояре растерянно переглянулись.

– А жаль... – едва ли не хором проворчали оба и, покосившись на Голицына, добавили для бережения:

– Спаси, Господи!

– И нечего такими отчаянными словами добрых людей смущать, – с тем Борис Алексеевич опять откинулся, прилажился поудобнее и закрыл глаза.

И не понять – точно ли нимало не обижен тем, что не поехал с государем в Измайлово? Если посмотреть с иной стороны – когда выезжали, князь Голицын на ногах-то не держался, убрел отсыпаться в какой-то чуланчик. И по сю пору не проснулся толком...

Бояре заговорили о делах, совершенно Аленке непонятных, – о зерне прошлого да позапрошлого урожая да о ценах на пеньку. Ясно ей стало, что тут она ничего о прибытии государя не услышит.

Не шелхнув занавеской, исчезла Аленка из столовой палаты – и лицом к лицу столкнулась с Пелагеейкой.

– Не бойся, девка, – Пелагейка улыбнулась ей. – Уж я-то не скажу.

– Ой ли? – Аленка всё же отстранилась от нее.

– А что мне с тебя проку? Нешто у государыни время есть еще и о тебе, свет, беспокоиться? Я ей про дела важные доношу.

Пелагейка сообщила это без всякого стыда, а даже с достоинством.

Государыней в Светлице звали и впредь звать собирались Наталью Кирилловну, а Дунюшку – как когда, хотя именно она и была настоящей царицей, царевой женой, а Наталья Кирилловна – вдовствующей.

– А когда государыня к нам опять будет? – спросила Аленка, сообразив, что уж эта проныра должна такое знать.

– А вот сегодня и обещалась. Да ты не бойся, свет! Ты мне, Аленушка, сразу приглянулась – не охальница, не бесстыдница, девка богомольная. Я-то в Светлице на всякое насмотрелась. А на тебя глянешь – сердечко радуется. Через годик-другой, коли государыне угодишь, быть тебе в тридцатниках.

– Куда мне в тридцатники... – Аленка даже руками развела. – Это же честь такая, а я еще неумеха рядом с теткой Катериной, теткой Авдотьей да теткой Дарьей. И поучиться у них тоже сейчас не могу...

Знаменитые золотные мастерицы, Катя Соймонова, Дуня Душецкая и Даша Юрова еще в сочных годах были, однако Аленка их за глаза тетками, а в глаза матушками звала. Тридцатники! Видно, еще с царицы Авдотьи Лукьяновны, благоверной супруги государя Михаила Федоровича, повелось – в Светлице есть тридцать мастериц наилучших, царицыных любимиц. Одна уходит по старости или по болезни, а то и по семейному делу, – другую тридцатницей государыня нарекает, так что всегда их в Верху – ровно три десятка, и длится это, надо полагать, не менее семидесяти годков...

Сейчас, правда, тридцатницы в Верху и остались, на правительницу Софью работают. В черном теле держит Софья младшего братца, денег жалеет, порой Натальи Кирилловны двор только тем и жив, что тайно переправит патриарх Иоаким или пришлют от Троицы-Сергия. Братца Ивана холит и лелеет, потому что и он – из Милославских, а братца Петра унижает, не холить же нарышкинское отродье...

– Твоя правда, светик, – согласилась Пелагейка. – Ну да ничего, мы люди простые, подождем. А только знаешь, что мне странно показалось?

– А что, Пелагеюшка?

– А то, что государыня тебе муженька никак не подыщет. Сколько лет-то тебе?

– На Алену равноапостольную восемнадцать исполнилось, – призналась Аленка.

– Да, теперь не то, как раньше бывало. Раньше ты и горя бы не ведала! Думаешь, с чего девки бесятся? Всегда у них свахой сама государыня-то была, а теперь никому до горемычных и дела нет! – Пелагейка скривила лицо и так-то горестно вздохнула. – Раньше, светик, мастерам житье было! Как увидит государыня царица, что девица в возраст взошла – сама жениха присмотрит. Сколько свадеб так-то сыграли! И женихи были все ведомые – сенные истопники, вон, всегда у государей на виду. Они и хоромы топят и метут, и у дверей для отворяния стоят, и жалование им – семь рублей! И люди они честные, а на Москве живут и царскую службу справляют по полугоду, а остальное время – в вотчинах своих. То были женихи! А теперь-то живем не во дворце, а в колымаге, прости господи... Со всем скарбишком по подмосковным шастаем, Верх только зимой и видим... Разве до сватовства теперь государыне? Вот девки и шалят... А коли повезет, и знаменщик присватается. Знаешь, девка, сколько знаменщик получает? Пятнадцать рублей!

– Пятнадцать рублей... – зачарованно повторила Аленка. Это были немалые деньги.

– Ты бы в тридцатницы вышла, да муженька бы тебе работающего сыскали, да домишко бы вы себе на Кисловке купили, среди своих же, верховых, поселились и детушек завели...

– Да я, Пелагеюшка, всё никак в обитель не отпущусь, – призналась Аленка. – Боярыня Наталья Осиповна сперва обещалась, потом оставаться велела. А я в Моисеевской обители сговорила было, меня там и старицы знают, и матушка игуменья помнит, я у нее на виду была...

– В обитель? В Моисеевскую? Побойся бога, девка! Куда тебе в черницы? – Пелагейка даже замахала на Аленку короткими ручками. – Это ежели бы ты какая хромая или кривая уродилась, или вовсе бестолковая – тогда и шла бы мирские грехи замаливать. А ты же красавица! Чего это тебя в обитель-то потянуло? Чай, старухи с пути сбили? Сами-то нагулялись, а тебя, дурочку молоденькую, раньше срока с собой тянут! Знаю я Моисеевскую обитель! Из ихней богадельни еще святой Ларион бесов изгонял!

Аленка потупилась – и впрямь, было давным-давно в той богаделенке нечто непотребное, старухи выкликать принялись. Много с ними принял хлопот и расстройства государь Алексей Михалыч, пока святитель бесов одолел...

– А что, девка, не потому ли ты к черницам-то собралась, что с молодцем какая неувязочка вышла? – шепнула в ухо карлица. – Скажи, свет, не стыдись! Уж в этом деле я тебе помогу.

– Да Господь с тобой, Пелагеюшка! – испугалась Аленка. – Ни с кем у меня неувязки не было!

– А и врешь же ты, девка... – Пелагейка тихо рассмеялась. – В твои-то годы – да без таких мыслей? Ты скажи, я помогу! Думаешь, коли я – царицына карлица, так уж этих дел не разумею? Я, свет Аленушка, такие сильные слова знаю, что если их на воду наговорить и той водой молодца напоить, – с тобой лишь и будет.

– А что за слова, Пелагеюшка? – Аленка знала, что всякие заговоры бывают, и такие, где Богородицу на помощь зовут, и такие, где нечистую силу призывают, и спросила потому строго, всем личиком показывая, что зазывательнице нечистой силы от нее лучше держаться подале.

– Слова праведные, – убежденно заявила Пелагейка. – И не бойся ты, девка, бабьего греха. Сколько раз бывало – сперва парень с девкой сойдутся, а потом – и под венец. Ты-то у бояр жила, у них построже. А нигде на девок такого обмана нет, как на Москве! Приедут сваты – а к ним невестину сестрицу выведут или вовсе девку сенную! Так что лучше уж сперва сойтись – так оно надежнее выйдет...

Пелагейка тихонько рассмеялась.

– Ведь и ко мне, Аленушка, сватались...

– К тебе?...

Глаза у Аленки чуть ли не на лоб вылезли.

Присвататься к карлице Пелагейке?...

– Нешто я муженька не прокормлю? А я рассудила – детушек мне всё одно не родить, лучше уж в Верху состарюсь, а как придет пора грехи замаливать – определяют меня в хорошую богаделенку или вовсе в обитель, присмотрят там за мной, старенькой. Нас, девок верховых, как смолоду в Верх возьмут, так и до старости обиходят.

– А сколько тебе лет, Пелагеюшка? – Аленке впервые пришло в голову, что Пелагейка не так уж стара, как можно подумать, глядя на широкое, щекастое, лоснящееся лицо.

– А тридцать третий миновал, Аленушка. Ты меня слушайся, я плохому не научу. Неужто и впрямь ни с кем ничего не было?

– Господь с тобой, Пелагеюшка, у нас – строго! – поняв, что только это соображение и доступно карлице, отвечала Аленка.

– Да, гляжу я – молодую государыню в строгости возрастили, – карлица сделала постно-рассудительную рожицу. – Ты ведь с ней сызмала жила? При ней и росла?

– Сколько себя помню, – подтвердила Аленка.

– А ведь род-то дьячий, небогатенький, невидный, только и славы было, когда дедушка, Аврам Никитич, у государыни Натальи Кирилловны дворецким был, а выше и не залетали, – Пелагейка прищурилась. – А, может, так оно и лучше. Пожила Авдотья Федоровна по-простому, порадовалась девичеству своему, теперь узнала цену богатому житью. Ведь ей уж девятнадцать было, когда государыня ее избрала? Еще годок-другой – и перестарочек. Для кого ж ее берегли, что замуж не отдавали?

– Да не сватали что-то, – честно призналась Аленка.

– Может, и сватали, да тебе не докладывали. Может, кого по соседству приглядели да и сговорились без лишнего шума...

– Да нет же, Пелагеюшка, я бы знала! Да и не было никого по соседству подходящего, вот разве что у Глебовых...

Тут по вспыхнувшим глазкам Пелагеюшки Аленка сообразила, что, кажется, сболтнула лишнего.

– Да того Степана уж, кажись, сговорили! – добавила она.

– Степана? – переспросила карлица. – Уж не того ли, что к потешным взять хотели?

Аленка развела руками.

– Чем же не угодил? Или собой нехорош? – домогалась Пелагейка.

– Да хорош он собой, и ровесник Дунюшке... Авдотье Федоровне, – поправилась Аленка. – Да только такого ни у кого на уме не было.

– А жили, стало быть, по соседству... – Карлица усмехнулась. – Чистая у тебя душенька, свет Аленушка. Может, и верно, что ты в обитель собираешься. Однако вспомни, коли полюбится кто, про мои сильные словечки. Я и присушить могу, и супротивницу проучить, и тоску

навести, и тоску отогнать. Меня – не бойся! Да и никого не бойся. Вон что девки вытворяют! Чего душенька пожелает – то и бери, а грех замолить времени хватит.

Карлица потянулась к Аленкиному уху.

– Знаешь, как мы, бабы, говорим? Дородна сласть – четыре ноги вместе скласть!..

С тем, рассмеявшись, и убежала Пелагейка вперевалочку, и показалось Аленке, что шустрая карлица на деле – куда моложе нее, скромницы, неулыбы, которая за полгода верхового житья даже подружки себе не нажила, а всё при старухах да при старухах...

Однако то, чего хотела, Аленка у Пелагейки узнала. Еще часок-другой – и вернется Дунюшка! А что, коли выбежать встретить? Замешаться среди девок сенных, ответить улыбкой на улыбку, когда Дунюшку под руки ближние боярыни из колымаги выводить будут...

Так Аленка и порешила.

Вблизи сосновой рощи, в излучине Яузы построил государь Алексей Михалыч свое село Преображенское, а ранее была здесь Собакина Пустошь. Он же заложил и церковку – Воскресения Христова, поскольку часто тут живал, особенно ранней весной, как начиналась соколиная охота, и спускал на утей, шилохвостей и чирят любимых кречетов – Гамаюна и Свертяя. Сюда же привозил он и молодую жену Наталью Кирилловну. Как женился, так первое с ней лето тут и прожил. Для увеселения царского семейства была построена даже комедийная храмина – ровесница государя Петра Алексеича.

Проходила через село проезжая дорога Стромынка – шла от самой Москвы, оставляя чуть в стороне Измайлово, и далее. По Стромынке должны были возвращаться тяжелые колымаги с кожаными занавесками в окошках. Аленка, уж не чая, как встретит подруженьку, на самую дорогу вышла.

Тихо и пусто было – все от жары попрятались, хоть и пора бы ей спадать, вечер близится. Потешные при деле – ведь они только тогда государеву потеху творят, когда государь прикажет, а в иное время кто – конюхом, кто – подъячим, кто, хорошего рода, и вовсе – стольником или даже спальником, а государев любимец Лукашка Хабаров – постельный истопник. Так что пуст стоит и городок Прешбург, нарочно построенный напротив старого дворца для военной потехи – со стенами, башнями, большой избой посередке – где пировать.

Издали прилетел стук конских копыт. Аленка заволновалась – не из Измайлова ли скачет гонец предупредить, чтобы готовились встречать? Однако прислушалась – всадник во весь опор скакал по Стромынке как раз из Москвы.

Был он, по случаю жары, в одной желтой рубахе подпоясанный, шапку, чтобы на скаку не потерять, в руке держал. Длинную бороду встречным ветром на два хвоста развело, однако не стар всадник, по-молодому в поясе тонок и статен. Конь же под ним – вороной, грива – на полтора вершка ввысь торчком, сам крепенький, и рожа – хитрая.

Подъезжая к дворцу, всадник придержал коня, потом и вовсе спешился и не во двор его повел, а всё задами, задами, примерно тем же путем, каким выбиралась на Стромынку Аленка.

Она растерялась – ну как сейчас люди понабегут, ее здесь обнаружат, а ведь ей место в светлице, в подклете, где стелят на ночь, ну, в огороде, если государыня Авдотья Федоровна пойдет туда с боярышнями, карлицами и сенными девками тешиться, яблочко съесть, песен послушать. Но никак не за пределами дворца!

Никто не набежал, а встретил того всадника у изгороди сам Борис Голицын – видать, ждал.

– Говори! – нетерпеливо приказал.

– Плещеева схватили! – прыгая наземь, без всякого излишнего почтения доложил гонец.

– Добро! Это нам на пользу. Как дело было?

– Плещеев, как к Кремлю подъехал, сразу не спешился. Там Гладкий со Стрижовым случились, Федькины прихвостни, стояли со сторожевými стрельцами. Плещеев крикнул, что от государя Петра. Гладкий ему – тебя-то нам и надо! И за ногу его, с седла стаскивать. Плещеев

– за саблю, саблю отняли, а самого – бить. Потом в Верх потащили, к Федьке Шакловитому. А Гладкий стрельцам говорит – ну, теперь начнется! Они на нас ночью собирались, а мы, как они поближе подойдут, в набат ударим!

– Стало быть, нашли письма? – перебил князь.

– Одно нашли – то, где про потешных писано, что придут из Преображенского царя Ивана побить, и с сестрами. Куда второе задевалось – одному Богу ведомо.

– А куда подкидывали?

– В Грановитых сенях бросили. Может, сыщется еще? – предположил гонец.

– Да ну его, хоть одно до Софьи дошло – и ладно. Проняло, выходит, голубушку.

– Да уж проняло! В Кремле все ворота на запоре, никого не пускают! Того гляди, и впрямь по слободам за стрельцами пошлют.

– Добро... – Голицын задумался. – Возвращайся, Кузя. И держи двух-трех коней под седлом. Где подполковнику Елизарьеву с товарищами в ночь стоять?

– Да на Лубянке, чай.

– Вот пусть Мельнов с Ладоговым от него ни на шаг не отходят. И как только он словечко вымолвит, что Шакловитый в эту ночь, видать, собрался медведицу с медвежонком насмерть уходить, пусть домогаются, чтобы их и послал поднимать тревогу в Преображенское.

– В эту ночь, стало быть?

– С Божьей помощью, – подтвердил князь. – Скачи, Кузя, господь с тобой. Немного уж потерпеть осталось.

Кузя усмехнулся в густую бороду, неспешно вставил ногу в стремя – и Аленкин глаз не уловил, как стрелец взвился в седло.

Конь под ним вытянул шею и заржал.

– Нишкни, черт! – прикрикнул Кузя.

– А ну – катись отсюда! – совсем по-простому приказал Голицын. – Это ж он царский поезд учуял! Государь из Измайлова возвращается! Вот тебя лишь мне тут и недоставало!

Но сказал он это добродушно, не обидчиво – Кузя весело глянул на него сверху вниз и послал вперед своего крепкого гривастого конька.

Голицын перекрестил уносящегося всадника и неторопливо пошел назад – встречать у главного дворцового крыльца колымаги с обеими государынями, Натальей Кирилловной и Авдотьей Федоровной, с царевной – государевой сестрицей Натальей Алексеевной, коей еще и шестнадцати не сровнялось, с верховыми боярынями и всяческой женской прислугой.

За ним, крадучись, поспешила и Аленка.

Вспомнила вдруг – нужно же успеть в подклет за подарком Дунюшке. Приобрела она его еще весной, на Пасху, прятала основательно – из рабочего-то ларца могли товарки и стащить, как таскали друг у дружки сласти с последующими допросами, разборами, выволочками и следами. И не было Аленке никакого дела до загадочных затей Голицына. И невдомек ей было, что князь, наскучив хмурым противостоянием государя Петра Алексеича и его властной матушки с правительницей Софьей, решил в эту ночь малость поторопить события.

Едва Аленка успела достать завернутый в красивый лоскуток подарок, как заметила ее заглянувшая ненароком старая постельница Марфа и погнала в светлицу. А там уж мастерицы, кинув работу, облепили окна – глядеть на царский поезд.

Четыре большие расписные колымаги медленно подъехали к крыльцу, издали посмотреть – прежняя царская роскошь, окна передней не кожаными завесами закрыты, а слюда в них вставлена, расписанная травами и розанами, и видно, что изнутри окошки задернуты персидской камкой.

– Не то, что раньше бывало, – шепнула мастерица постарше, – тогда в царском поезде полсотни колымаг считали, да за ними – до сотни подвод. Вот как государь-то в Измайлово ездил!

– То-то и оно, что государь... – таким же быстрым шепотком отвечала ей другая. – Был бы жив государь – Сонька-то и не пикнула бы, а за пальцами сидела... Вот как мы с тобой...

Аленке и взглянуть не досталось – росточком мала, статные пышные девки оттеснили ее от окошечка.

Однако она знала, как быть.

У них с Дуней уж повелось – встречаться в крестовой палате. Главное было – проскользнуть туда незамеченной. Вот и сейчас следовало поторопиться. Пока Дуню в покои приведут, пока дорожное с нее снимут, напиток подадут – нужно успеть.

Хорошо, помогла Пелагейка.

Увидев, что Аленка среди сенных девок затесалась, поманила ее пальчиком – ступай, мол, за мной. А Пелагейке многое дозволено.

В крестовой палате образов было не счесть – иные с собой из Кремля привозили, иные так тут зиму и зимовали. Аленка перекрестилась, помолилась, а тут и Дуня вошла, шурша тафтяной распашницей, накинутой поверх тонкой алой рубахи. Замучила ее жара, пока она в колымаге из Измайлова добиралась, ближние женщины поспешили снять с нее тяжелый наряд.

Похорошела Дуня, а главное – улыбка с уст не сходила. И раньше-то не шла – плыла, сложив на груди руки, так чтоб свисающая ширинка не шелохнулась. А теперь, казалось, и вовсе не перебирает ногами, а стоит на облачке, и облачко ее несет...

– Аленушка!

Но не к подруге, а к книжному хранилищу поспешила Дуня, и рука сразу нашла тонкую рукописную книжицу, зажатую меж толстыми божественными.

– С ангелом тебя, Дунюшка! – Аленка быстренько развернула лоскуток. Неизвестно, много ли у них на беседу минуток.

– Ах ты, господи!.. – умилилась юная государыня.

Подарок был таков, что Аленка, увидав его на лотке с игрушками, не могла пройти мимо. Птичка деревянная, столь искусно перьями серенькими оклеенная, что прямо как живая сидела в ладошках. И глазки вставлены, и носок темненький, только что лапок нет, а так – голубочек малый, да и только.

– Вот радость-то... – любуясь голубком, прошептала Дунюшка. – А я тебе заедок припасла. Там тоже пташка, только сахарная, я ее с пирога сняла. Они в укладке, в колымаге, постельницы присмотрят, чтобы в покои принесли.

А более ни слова сказать не успела – обе подруженьки услышали шорох.

– Схоронись!..

Аленка присела за невысоким книжным хранилищем.

В крестовую вошла статная сорокалетняя женщина, невзирая на жару – в черной меховой шапочке, бледная от вечного сиденья в комнатах, с лицом уже не округлым, а болезненно припухлым и отечным, но с глазами по-молодому большими и темными, с бровями дугой, – та, кого не только недруги, но и приверженцы называли порой медведицей, – вдовствующая государыня Наталья Кирилловна.

Чуть повернув голову на полной, скрытой меховым же ожерельем, шее, государыня дала рукой едва заметный знак, – и, повинуясь, вся ее свита, и ближние боярыни, и карлицы, и боярышни, не говоря уж о постельницах и сенных девках, осталась за дверью.

Аленка в ужасе съежилась, Дуня же, быстро положив книжицу на высокий налой, вышла на середину и встала перед свекровью – не менее статная, но всюю румяная, глаза опущены, руки на груди высоко сложены, и ровненько между рукавами вышитая ширинка, кончиками перстов зажатая, свисает. Посмотреть любо-дорого!

– Чем, свет, занимаешься? – Царица подошла к налою, коснулась перстами рукодельной книги. – Молишься? Аль виршами тешишься?

Дуня молча кивнула. Уразумела, умница, что государыня в сварливом расположении духа, и, видно, сразу поняла, чем не угодила.

– А тебе бы, свет, про божественное почитать, – без заминки приступила к выговору Наталья Кирилловна. – Уж и не пойму – когда ты при мне была, постные дни всегда соблюдала. Как замуж вышла – память у тебя, свет, отшибло?

Дуня покраснела, да так, что и взмокла вся, бедняжка. Однако опять ни слова не молвила.

– Отшибло, видать, – продолжала государыня. – Ну так я напомним, в какие дни и ночи таинство брака запрещается. Накануне среды и пятницы, перед двенадцатыми и великими праздниками, а также во все посты, свет! У нас что ныне? Да не молчи ты, неразумная, отвечай, как подобает!

– Пост, Успенский, – прошептала Дуня.

– И какой же то пост?

– Строгий, матушка...

– Весь строгий?

– На Преображение рыба дозволяется... вино... елей...

– Гляди ты! – притворно удивилась царица. – Помнишь! А таинство брака? Что молчишь? Думаешь, не донесли мне? Гляди, Дуня. Я с покойным государем ни разу так-то не оскоромилась, и ты сыночка моего в грех не вводи. Ох, не того я от тебя ожидала...

– Прости, государыня-матушка, – прошептала Дуня.

– Бог простит, да чтоб впредь такого не было! – вдруг крикнула царица, да так страшно-Дунюшка отшатнулась и лицо руками прикрыла.

– Не для того я тебя из бедного житья в Верх взяла! – тыча перстом, добавила Наталья Кирилловна уже потише. – Ты царскую плоть в чреве носишь – тебе себя блюсти надобно!

Дунюшка кротко опустила на колени.

– Встань. Я не архиерей. И запомни мое слово, – с тем государыня, плавно повернувшись, и вышла.

Дуня, опершись о пол, встала на корточки и, не шевелясь, прислушалась.

– Ушла? – еле слышно спросила из-за книжного хранилища Аленка.

– Ушла, бог с ней... – Дуня быстренько перебежала к подружке, присела с ней рядом и тихо рассмеялась.

– Что ты, Дунюшка? – удивилась Аленка.

– Он ко мне ночью прокрался!.. – прошептала Дуня. – Я ему – Петруша, грех ведь! А он мне – не бойся, замолим!.. Ой, Аленушка!..

– А ведь грех, – согласилась с Петром Аленка. – Как же ты?

– С божьей помощью, замуж тебя отдадим – поймешь! Отказать-то как? Себе же больнее сделаешь, коли откажешь! Аленушка, он уж ко мне под одеяльце забрался, а жарко, а на пол ступить – досточки скрипят, а как в самое ушко зашептал – Аленушка, сил моих не стало... Ну, думаю, а и замолю!

– Его-то, небось, корить не станет, – неодобрительно сказала про государыню Аленка.

– Уж так было хорошо... – Дуня встала, выпрямилась, вздохнула всей грудью. – Бог даст, и ты мужа полюбишь. А то заладила – в обитель да в обитель... А узнаешь, каково с муженьком сладко – ох, Аленушка, за что мне Господь такую радость послал?...

Слушая эти скромные слова, Аленка испытала чувство, которое и назвать-то вовеки не решилась бы, а то была ревность.

Дунюшка относилась к ней вроде и по-прежнему, насколько позволяло ее новое положение, однако душой уже не принадлежала подруженьке. Это было мучительно – Аленка принималась вспоминать, каково им обоим жилось в лопухинском доме, когда и в крестовую палату – вместе, и рукодельничать – вместе, и в огород за вишеньем и смородиной – непременно вместе, и всё яснее ей делалось, что Дунюшка была к ней привязана лишь до поры, чтобы готовое

любить сердечко вовсе не пустовало. А явился суженый – высокий, черноглазый, кудрявый, – и сердечко, от прежних, девичьих, привязанностей освободясь, всё ему навстречу распахнулось!

Горестно было Аленке глядеть на счастливую Дунюшку.

– А государыня меня любит, и отходчива она, – полагая, что подружка переживает из-за полученного от Натальи Кирилловны нагоняя, сказала Дуня. – Добра желает и Петруше, и мне...

Насчет Петра Аленка – и то сомневалась. Казалось ей, что мать, желающая сыну добра, не станет его с сестрами ссорить. Софья-правительница – сводная сестра ведь, от этого не денешься. А коли не сама государыня – так братец, Лев Кириллыч, племяннику в уши напоеет, или тот же Голицын – завидует он братцу Василию, что ли, не понять... Двоюродные братья, а как их по углам судьба развела. Василий – любимец и главный советчик Софьи, Борис – любимец и главный советчик Петра. А Петру Алексеичу лишь в мае семнадцать исполнилось, Аленка – и та его на год старше.

Однако Петра Аленка крепко невзлюбила. Да и как прикажешь сердцу любить этого долговогого, что Дунюшку у нее отнял? Хотя и государь, а всё одно – долговязый...

Дуня взяла наконец у Аленки оперенного голубка.

– Как живой, гляди – заворкует, – умилившись, сказала она и, взяв птицу в ладони, поднесла клювиком к губам: – Гули, гули...

Коснулся деревянный крашеный клювик царицыных уст, и те уста принялись его мелко-мелко целовать с еле слышным чмоканьем. Тешилась Дуня, играла – да только не девичьей игрой, бабья нежность в ней созрела и пролиться искала – хоть на игрушку, пока дитя еще во чреве...

– Как из рая прилетел!.. – Дунюшка вдруг положила пташку на стол и взяла с наложной книжицу, раскрыла ее и прочитала внятно: – «Книга – любви знак в честен брак»! Слышишь, Аленушка? Ведь сразу всем ясно стало – будет промеж нас любовь! Отца Кариона подареньице, а он – мудрый, сам вирши сочиняет... Вот, гляди...

Она перелистнула и показала Аленке изображение – в небесах на облаках, как на пригорочке, сидели слева – апостол Петр и Господь Христос, а справа – Богородица и преподобная Евдокия, память которой и справляли в Измайлове. Под ними же на полянке – новобрачные в царских нарядах.

– Петруша, – показав на царевича со скипетром и державой, сказала Дуня. – И я!

И впрямь было некое сходство меж Дунюшкой и той царевной в венце, что сложила на груди руки достойным обычаем, а глаза с нежностью, но и с любопытством скосила на суженого.

– А тут что написано? – спросила Аленка. Мелкие букочки вылетали из уст новобрачных и, как бы на извилистой ниточке, пронизывали облака, достигали Христа и Богородицы.

Дуня стала поворачивать книжицу так и этак.

– Букочки махонькие, – сказала она. – Петруша-то разбирает... А потом – вирши. Софьюшка-то, чай, от зависти позеленела – какие вирши нам сочинили! Петруша мне читал. Вот уж кому не надивлюсь – так это отцу Кариону! Я-то соберусь Петруше письмецо отослать – перышко изгрызу, и всё без толку, словами всё скажу, а писать словно мешает кто! А он, послушав, все мои слова так ладно на бумагу нанесет – любо-дорого посмотреть! И Петруша доволен, и матушка, Наталья Кирилловна...

Аленка недовольно глядела на тех новобрачных, затем перелистнула книгу и показала пальцем на играющих с трубами, в коротких зипунишках, куда выше колен.

– Эту-то срамоту для чего здесь рисовать? – строго спросила она. – Книжица-то, чай, про государево венчанье...

И тут же залилась краской, потому что на соседней странице вместо заглавной буквы сидели друг против дружки крохотные голые мужик и девка, ножонки между собой непотребно перекрестив.

– Давай сюда, постница, – Дуня забрала книжицу, еще раз открыла свое с Петрушей изображение и перекрестила его.

Дверная занавеска колыхнулась – заглянула Наталья Осиповна.

– Ушла государыня-то, – сообщила она. – Помолилась, Дунюшка?

Дуня быстро передала Аленке книжицу, а та, почти не глядя, сунула ее в книжное хранилище.

– Ужинать собирают, – сказала боярыня. – Сегодня к столу рыба дозволена. На поварне кашки стряпали – судачиную, да стерляжью, да третью – из севрюжины, да икру пряженую подадут, да вязигу в уксусе, и луковники испечены, и пироги подовые с маком... Да киселей сладких наварили, да, Дунюшка, вот что тебе бы есть сегодня не след...

– А что, матушка? – удивилась Дуня.

– Оладьи сахарные. Сахар-то, слыхивала, на коровьих костях делан, скоромный, стало быть, а государыня Наталья Кирилловна того не разумеет, велит печь и в пост... Да вот еще что – шти постные и лапша гороховая! И ты бы, Аленушка, тех оладий не ела. Не то скажут – экую дуру Лопухины с собой в Верх взяли, постного от скоромного не отличит...

Видя, что боярыня не гневается, застав Аленку в крестовой палате, девушка подошла к ней и приласкалась – поцеловала в плечико, прижалась к бочку. Боярыне-то сподручнее приобнять маленькую Аленку, чем статную Дуню.

– Ступай, ступай, светик, господь с тобой, – отослала свою воспитанницу Наталья Осиповна. – А тебе, государыня, к столу наряжаться пора. Не так часто государь с тобой за стол садится – принарядись!

– А ты, матушка? Ты наряд не сменишь?

– А и сменю... – прежде хорошенько подумав, решила боярыня. И, обремененная мыслью о наряде, поплыла из крестовой прочь.

– Я первая пойду, ты трижды «Отче наш» прочтешь – и за мной! – приказала Дуня. – Меня боярыни одевать поведут.

Вдруг в дверях снова появилась взволнованная Наталья Осиповна.

– Ахти мне, глупой! Совсем забыла!

– А что, матушка? – поспешила к ней Дуня. – А что?

– Да господи!.. Лососину еще к столу подадут, с чесноком зубками!

И, перекрестив доченьку, боярыня окончательно убралась из крестовой.

– А что, Аленушка, к лицу ли мне кичный наряд? – поворачиваясь и красуясь, спросила Дуня.

– Прежде лучше было, – честно отвечала Аленка.

Прежде-то по спине коса спускалась, знаменитая Дунина коса, для которой Аленка смастерила такой косник, что все диву дались. Изготовила она толстую шелковую кисть, а связку ее оплела жемчужной сеточкой-ворворкой. Теперь же Дуне плели две косы и укладывали их вокруг головы, сверху натягивали тафтяный подбрусник, затем плетенный из золотных нитей волосник, к которому крепилось очелье, низанное из жемчуга. Оно прикрывало Дунюшкин лоб до бровей, но не мешало – она в девках к такому убору привыкла. И уж сверх всего надевалась нарядная кика.

– Что бы надеть? – задумалась юная государыня.

А чего надеть – имелось немало. Дуня и Наталья Осиповна получили доступ к сундукам, ларям и коробам, где хранились наряды еще царицы Авдотьи Лукьяновны, не говоря уж о нарядах царицы Марьи Ильиничны. Всё это часто перетряхивалось, травками от моли пересыпалось и всё еще было настолько хорошо, что, случалось, выпарывали из рукавов-накапков,

которые делались длиннее подола летника, шитые жемчугом вошвы и отделявали ими фелони для священников верховых кремлевских церквочек.

– Верхнюю сорочку надень полосатую, из шиды индийской, что полосы алы с золотом да белы с золотом, – подумав, предложила Аленка. – К ней поясик плетеный золотной... Телогрею белую атласную на тафте, с золотыми пуговками и с золотным кружевом... И довольно будет.

– Не скучно ли – белое да белое? – задумалась Дуня. – А коли шубку кызылбашской камки?

– К шубке меховое ожерелье надобно. Взмокнешь, светик.

– Да шубка-то легонькая!

– Кызылбашская камка легонькая? – изумилась Аленка.

– Не бурская же!

И поспешила Дуня из крестовой палаты – наряжаться.

– Тогда уж летник атласный желтенький, персидского атласу, где узор птичками! – крикнула Аленка вслед и тут же испугалась – не услышал бы кто. За дверьми-то ждут сенные девушки и ближние боярыни – родная матушка Наталья Осиповна, Авдотья Чирикова и Акулина Доможирова, которые с Лопухиными дружны, да змея – Прасковья Алексеевна Нарышкина, вдова государынина братца Ивана, которого семь лет назад Наталье Кирилловне пришлось выдать стрельцам на расправу. Дуне еще когда рожать, а змею государыня уже теперь в мамы к внуку определила.

– Птичками и бабочками? – переспросила, обернувшись, Дуня. – Ох, птичку-то прибери, спрячь! В книжное хранилище, Аленушка, за книги! Я на ночь помолиться приду – заберу!

И ушла – красоваться перед любимым мужем.

Аленка дождалась, пока шорох тафтяных летников и шаги стихли в переходах, осторожно выбралась из крестовой. Тут ей взошло на ум, что легонькая шубка персидской объяри, узор – дороги и бабочки, тоже была бы хороша. Не зимняя шуба, чай, а – шубка, столовый наряд... Но не догонять же Дуню...

Вернулась Аленка в светлицу, а там уж суета – к вечеру все торопятся работу закончить, починенное сдают, с утра-то государь снова свое потешное войско в Прешбурге школить собрался... Батюшки, а у Аленки рукав не вшит! А становой кафтан-то – государев!

Провозилась Аленка до того, что последней в подклет ушла. Ужинать ей принесла разумница Матренушка. Тут оказалось, что не всё перечислила боярыня Лопухина. Еще большие пироги с сигадами и сельдями для праздника пекли. Что осталось с царского стола – мастерицам послали. И Аленке хороший кусок пирога перепал, ей и хватило, а были еще оладейки в ореховом масле – так тех она и не осилила, Матрена подъела.

В подклет девушка прокралась, когда те, что спать собрались, уж засыпали, а те, что с полюбовниками уговорились, лежали тихонько, готовые живо подняться да и выскользнуть. Не Верх, чай, – сельцо, дворец огородами окружен, каждый кустик ночевать пустит!

Легла Аленка на свой войлочек, отвернулась к стенке. Свой сарафанец из крашенины лазоревой, отороченный мишурным серебряным кружевом, с оловянными пуговицами, сложила ровнехонько, не то что шальные девки. И вроде даже задремала, когда вдруг раздалась на дворе крики, да такие отчаянные, что в подклете, не разобравшись, заголосили:

– Ахти нам! Пожар!..

Коломенский дворец – красы несказанной, но коли полыхнет сухое дерево – успеть бы выбежать, а имущества уж не спасти. С визгом, с причитаниями кинулись мастерицы из подклета в одних сорочках. Поднялись, спотыкаясь, по лесенке, выскочили на высокое крыльцо, а по двору потешные с факелами носятся.

– Да где же кони?! – раздался пронзительный крик.

Не воды требуют – коней... Да что же это делается?

А Дунюшка-то младенчиком тяжела! А ну как с перепугу скинет?

Забыв про заведенные порядки, понеслась Аленка, как была, переходами в государынины покои. Только сарафанишко прихватить успела и кое-как на бегу напялила его поверх сорочки. А косник в косу да повязку на голову, чтобы не выскакивать на люди простоволосой – про то она и не подумала.

Навстречу ей бежали с огнем люди – один высокий, в одной белой рубахе, впереди, прочие, тоже не одетые, за ним поспевали. Аленка вжалась в бревенчатую стенку, пропуская государя. Вот он каков без кафтана-то... Длинноногий, тощий, глаза выкачены, дороги не разбирает... За ним – постельничий, Гаврюшка Головкин, с одежкой через плечо, за Гаврюшкой карла Тимофей поспешает, и – батюшки! Пистоль у Тимофея в руках! И постельный истопник Лукашка Хабаров, весь расхристанный, взъерошенный, с саблей наголо! И князь Борис Голицын, одетый так, словно и не ложился.

Пронеслись, выскочили во двор, перебежали открытое место, сгнули во мраке... И тут же за ними – непонятно кто, с охапкой верхнего платья, проскочил мимо Аленки, сапог обронил – и за ним не вернулся.

Господи Иисусе, неужто Софья стрельцов на Коломенское двинула?

– В рощу всё неси! – раздался голос князя Голицына. – В рощу, дурак!

А как бы в ответ – вой из царицыных хором.

Аленка понеслась туда – к Дунюшке!

Замешалась в больших сенях среди сенных девок, среди перепуганных постельниц, среди бабок да мамок. Увидела Пелагейку – та стояла, привалившись к стене, и лишь головой крутила вправо-влево, приоткрыв редкозубый рот.

– Пелагеюшка! – так и бросилась к ней Аленка. – Да что ж это деется? Спаси и сохрани!

– Стрельцы по Стромынке прискакали, свет! – отвечала карлица. – Кричали – на Москве набат гремит, полки сюда движутся!

– Бежать же надо! – без голоса прошептала Аленка.

– Государынь собирают! – Карлица снова принялась вертеть головой. – Возников в колымаги закладывают. Сейчас и двинутся в путь!

Но не было в ее голосе испуга, а какое-то насмешливое веселье.

– А нас, а мастериц?

– Ты, Аленушка, при мне держись, – велела Пелагейка. – Я-то не пропаду, нас, карлов, николи не трогают!

– Я к Дуне! – вскрикнула Аленка, мало заботясь, так или не так назвала государыню всея Руси. И побежала – маленькая и верткая, и проскочила в двери.

В покоях верховые боярыни сами укладывали короба и увязывали узлы. Все здесь смешались – и казначеи Натальи Кирилловны, и казначеи Дунюшки, оказалась тут и светличная боярыня Настасья Кокорева, и государева мама – Матрена Романовна Леонтьева, и мама царевны Натальи – княгиня Ромодановская, и старенькая княгиня Домна Волконская. Тут же, как всегда, от волнения в беспамятстве, сидела Наталья Осиповна. Женщины толклись, мешая друг другу.

Несколько в стороне, у окошка, стояла Наталья Кирилловна, как всегда – в темном наряде, обняв дочку. Смотрела в пол, сдвинув красивые черные брови. Кусала губы. И молчала. Царевна Натальюшка испуганно приникла к ней.

Аленка огляделась – Дуни не было.

Тогда она вдоль стены прокралась к двери в крестовую палату.

Дуня стояла на коленях перед образами, пылко вполголоса молилась, не по правилу, путая слова, добавляя своих. Рядом, на коленях же, стояла сестрица Аксиныюшка и молчала, стиснув губы, глядя мимо образов.

– Господи, со мной что хочешь делай, хоть стрельцам отдай, хоть огнем пожги! Спаси Петрушеньку, Господи! Все обители обойду, Господи! – твердила Дуня.

Аленка кинулась на колени с ней рядом.

– И ты молись, и ты, светик! – воскликнула Дуня, повернувшись к ней. Аленка изумилась – не испуг, а восторг был на лице подружки.

– Да, Дунюшка, да!..

– Мы его вымолим! Мы, только мы – понимаешь? Аленушка, ничего у него более нет – только молитовка!

– Да, Дунюшка, да... – ошалело повторяла Аленка. Отродясь она не видела таких глаз у подружки, обезумевших, огромных...

– Вымолим, выпросим, спасем... – позабыв о самой молитве, обещала Дуня с непонятной радостью. – Не настигнут его, не тронут его – а это мы, а это – молитва наша...

Она повернулась к сестрице.

– А ты что же?

Девочка молчала.

– Аксиньюшка, свет! – Решив, что это с перепугу, Аленка поползла к ней на коленях, наступила на широоченные рукава-накапки Дуниного летника, дорогой атлас затрещал.

– Дунюшка! – отбиваясь от Аленки, вздумавшей встряхнуть ее за плечи, воскликнула Аксинья. – Что же это? Он убежал, тебя с чревом бросил? А ты – молиться за него?

– Государь же! Ему себя спасать надобно! – возразила Дуня, да так, что и спорить с ней было невозможно. – Государь же, Аксютка!

– И матушку свою бросил, и сестрицу Натальюшку! И всех нас! – упрямо добавила девочка. – Вот подымут нас стрельцы на копья, а он-то цел останется!

– Государь же!.. – в третий раз повторила Дуня. – Я бы и на копья – он бы уйти успел!..

Вдруг Аленка поняла – а девочка-то права...

Возникло перед глазами лицо бегущего царя – черные глаза навывкате, рот приоткрыт в немом крике, и в каждом движении, в каждом взмахе длинных рук – ужас!

Она села на пятки.

Дуня, как бы не замечая, что родная сестра и лучшая подруженька молчат, снова обратилась к образам. Да и кто ей сейчас был нужен, коли она сама, только своей любовью и своей молитвой, желала спасти Петрушу от стрелецких полков?

– Пойдем к матушке, Аксиньюшка, – шепнула Аленка девочке. – Обеспамятела матушка...

– Пойдем, – отвечала Аксинья. И видно было, что не одобряет она старшую сестру, до того не одобряет, что и к молитве ее присоединиться не захотела. Лишь, подойдя к дверям крестовой, обернулась, перекрестилась на все образа разом и поклонилась в пояс, как дома научили.

Строга была девочка – уж эта за любезного мужа на копья не кинется.

Высунули носы Аленка с Аксиньюшкой из-за пыльного сукна, но выходить не стали, так и застряли меж занавесок. Потому что остались за это время в горнице три женщины – государыня Наталья Кирилловна, княгиня Волконская да царевна Натальюшка, прибавился же один неожиданный посетитель – мужчина. Князь Борис Голицын.

Княгиня Домна Никитична с незапамятных времен в Верху служила, царице была предана. Что до Натальюшки – негоже, конечно, чтобы посторонний мужчина, не родственник, на царевнино лицо глядел, да в эту ночь, видать, не до правил. Сообразив всё это, Аленка поняла, что прочих женщин выслали ради тайного разговора, и удержала меж занавесок Аксинью.

– Да всё же, Борис Алексеич, – государыня подошла к князю, – боязно мне что-то...

– Ты, матушка государыня, в шахматы игрывала? – спросил князь.

Она кивнула – мол, да, еще покойный супруг забавы ради обучал. Кивнула и Натальюшка – видать, пыталась понять взрослые речи.

– Видывала, как супротивнику три и более фигур отдают, а он, дурачок, берет? Вынуждают его поставить свои фигуры в неловкое положение, потом же ему стремительный удар наносят. Затянулась эта дурь, матушка. Или Софья про тебя с Петрушей нелепое скажет – и вы то в терему по целым дням обговариваете, или Петруша Софью не тем словечком обзовет – и ей доносят, и она по месяцу дуется. Девкой назвал! Так девка покамест и есть, ни с Федькой, ни с братцем моим, чай, ее не венчали... Девкой и останется.

– Устала я, князюшка, от пересудов, потому лишь тебя и послушала...

– А меж тем государство – как пьяный мужик в болоте, уже по самые ноздри ушел, вопить нечем, лишь пузыри пускает... – продолжал Голицын. – Мы теперь с шумом да гамом отступили, сейчас, с божьей помощью, соберемся, все с утра к Троице поедem да укроемся, а Софьюшке – объяснять всему миру, что не собиралась она посылать стрельцов брать приступом Преображенское. А чего ради в Кремле суeta да сборы были? За каким бесом – прости, государыня, – ворота позапирали? Почему стрельцы набата ждали? Ах, подметное письмишко нашли? Государыня, сам то письмишко сочинял и веселился! Сколько в Преображенском у тебя с государем людишек? Шесть сотен конюхов да подьячих, да истопников, да постельничьих пойдут ночью в Кремль царя Ивана и с сестрами губить! Блажененький разве какой поверит.

– Преображенское приступом брать... Господи, да чего тут брать, факел швырни – и запыхает, – намекая на старые деревянные строения, сказала Наталья Кирилловна. – Однако не надо было Петрушу одного отпустить. С дороги бы не сбился...

– Далеко ли отсюда до Троице-Сергия? С ним трое, и уж один-то – надежен.

– Гаврюшка Головкин, что ли? Многим ли он Петруши старше?

– Еще карла, Тимошка. Да Мельнов, государыня. Тот стрелец, что с известием прискакал. Слышала, чай? Не кричал – дурным голосом вопил: спасайся, мол, государь, в Кремле набат бьет, стрельцы на Стромынке рядами строятся! Вот голосина – сам не ожидал... Такой охраны с лишком хватит. Пусть все ведают, в какой суматохе государь жизнь спасал...

Князь негромко рассмеялся.

– Стрелец?... Ты что же, князюшка, с ним государя отпустил?...

– Мельнов этот – мой человек, – и, глядя на волнение царицы, Голицын рассмеялся. – И послан от подполковника Елизарьева – помяни мое слово, государыня, один из первых свои стрелецкие сотни к Троице приведет.

– Не разумею я что-то, Борис Алексеич...

– А чего тут разуметь – из Троицы государь Петр Алексеич грамоту на Москву пришлет, чтобы все верные к нему собирались. Однажды Софья так-то Москву припугнула – мол, уйдет она отсюда с сестрицами к чужим королям милостыньки просить. Так Софьюшка-то грозилась, а Петруша и впрямь от беды неминуемой убежал. Ну-ка, что Москва скажет?

– Ловок ты... не в пример братцу...

Голицын вздохнул.

Двоюродный брат, Василий, советчик и любимец Софьин, Москве не по душе пришелся.

– Успокойся, государыня-матушка, – сказал он. – Тут не ловкость, а расчет. Семь лет назад стрельцы и пошли бы пеши в Преображенское – тебя с чадом на копыя сажать, как братца твоего, царствие ему небесное. А за семь лет они Софьиным правлением по горло сыты. Покричать ради нее – милое дело, если она же и чарку поднесет. А с места сняться, мушкетик на плечо взвалить, ножками семь верст одолевать – пусть других дураков поищет... И она то ведает.

* * *

Итак, государь Петр Алексеевич, жизни которого якобы угрожали стрелецкие полки, идущие по Стромынке к Преображенскому, в сопровождении всего троих спутников бежал

ночью к Троице – просить защиты у архимандрита Викентия. А за ним, со всем скарбом, мирно двинулись в колымагах Наталья Кирилловна с ближними женщинами, сестра Натальюшка, Дуня, карлицы и мастерицы. Другой дорогой, лесной, постельный истопник Лука Хабаров, он же фатермистр Преображенского полка, повез к Троице-Сергию полковые пушки. И туда же маршевым шагом отправились шесть сотен более или менее обученных солдат, разве что без свирелки с барабаном.

В Кремле, узнав про это странное бегство, сперва не столь испугались, сколь удивились. Потому что никто не собирался всерьез посылать в Преображенское стрельцов для убийства Петра с матерью.

– Вольно ж ему, взбесился, бегать! – сказали то ли Софья, то ли Шакловитый, а то ли оба вместе (поскольку историки не сошлись, кому приписать фразу).

Диковинное событие, как и предвидел латинщик и выпивоха князь Голицын, породило брожение умов – и тут же каждый, от кого хоть что-то зависело, вынужден был сделать выбор – на чьей он стороне.

Возможно, первым посланцем Кремля был гонец от стрелецкого полковника Ивана Цыклера. Полковник сразу сообразил, что верх возьмет сделавший первый шаг Петр, и тайно просил вызвать его, Цыклера, к Троице – мол, откроет много нужного и тайного. За ним послали – его с пятью десятками стрельцов, после долгих совещаний, отпустили. Нельзя же отказывать венчанному на царство государю в пяти десятках стрельцов...

Петр засел в Троице-Сергиевом монастыре всерьез. И тут же туда потянулись дальновидные. Генерал Гордон привел Сухарев полк.

16 августа в стрелецкие и солдатские полки прибыла от царя Петра грамота. Он звал к Троице начальных людей и по десятку рядовых каждого полка. Софья запретила стрельцам подчиняться этому приказу, а по Москве незнамо кто пустил дурацкий слух – будто грамота прислана без ведома Петра, злоумышлением Бориски Голицына. Вместо того чтобы успокоить войско, такая новость его насторожила – уж больно казалась нелепа. Осознав, что с Софьей ему более не по пути, бежал к Троице патриарх Иоаким. И, прежде всех прочих иностранцев, прибыл к Троице Франц Лефорт.

Всё развивалось согласно замыслу.

27 августа 1689 года в стрелецкие полки пришла новая государева грамота, и стрельцы, повинувшись цареву указу, потихоньку двинулись по Стромынке.

Оставалось сделать немного – взяв в руки подлинную власть, загнать в угол правительницу Софью с ее избранниками.

Тут Борис Голицын, муж ума государственного, сглупил. Не следовало ему в этой кутерьме пытаться спасти двоюродного брата, Василия Голицына. Даже ради чести голицынского рода. Он же вступил с братцем в переписку, призывая его к Троице. Василий Васильевич не мог бросить Софью и до последнего хлопотал о примирении сторон.

Что же из этого вышло? Да только то, что Нарышкины озлились на Бориса. Дескать, родственника пытался выгородить. И как только Софья оказалась в Новодевичьем монастыре, Василий Голицын – в ссылке, Федор Шакловитый с главными своими сообщниками – казнен, как только приступили к дележке высвободившихся званий и чинов, то Бориса Алексеича от дел Нарышкины и отстранили. Дали ему заведовать приказом Казанского дворца – и, махнув рукой отныне на дела государственные, латинщик продолжал читать мудрые книги, напиваться в государевом обществе (против чего никто не возражал), а приказ свой разорил окончательно и бесповоротно.

Наталья Кирилловна уж так была рада, что Голицыных избыла, что не возражала против совместных увеселений сына с его родным дядюшкой, своим младшим братом, Львом Кирилловичем. Пусть хоть пьет, хоть гуляет, да со своими. Но молодой дядюшка любимцем госуда-

ревым не стал – а стал иноземец Франц Яковлевич Лефорт. Видно, он-то и заманил Петра в Немецкую слободу.

И настали мирные времена. Правил, разумеется, не Петр – у него на то и времени не оставалось. И не царь Иван – у того время имелось в избытке, да способностями бог обидел.

Чем же Петр занимался?

А фейерверки устраивал.

Попалась ему у генерала Гордона книжка про фейерверки – он и увлекся огненной потехой.

Полки свои школил. Теперь, когда не приходилось за каждой мелочью в Оружейную палату посылать, он мог ими еще основательней заняться. Град Прешбург на Яузе то укреплял, то штурмовал, и до того однажды довоевался – при взрыве гранаты лицо ему опалило.

Учился. Благо всем ведомо – таблицу умножения государь впервые зубрить стал лишь в возрасте пятнадцати лет. А жажда познания в нем сидела необыкновенная.

В Немецкую слободу то и дело ездил. В новом дворце Лефорта дневал и ночевал. Веселился напропалую, коли нужда в нем возникнет – в Кремль не дозовешься.

Яхту сам себе построил.

Ну а чем, если вдуматься, должен заниматься государь, которому при венчании и полных семнадцати не было? Для которого престол от Софьи освободили, когда ему семнадцать лет и три месяца исполнилось? Править государством в восемнадцать? Даже в девятнадцать? И даже в двадцать лет?

Петр поступил по-своему разумно – предоставил все дела Нарышкиным.

Дуня между тем исправно рожала ему сыновей. Сыновей! Не то, что царица Прасковья – государю Ивану, а может, и Ваське Юшкову.

Первенца своего, Алешеньку, родила 28 февраля 1690 года.

Царевич Александр родился в ноябре 1691 года, пожил недолго – в мае 1692 года умер. Царевич Павел родился в ноябре 1692 года, летом 1693 года умер...

Алешенька, хоть и хворал, однако рос, окруженный заботой. Наследник!

Петр видел его редко – не в батюшку своего уродился, который свободные часы проводил либо на охоте, либо с семьей. Других радостей хватало. И давнюю свою затею наконец осуществил.

На Плещеевом озере ему стало тесно. Хотелось простору, хотелось, чтобы паруса, ветром наполненные, до небес над крутобокими кораблями громоздились, хотелось, чтобы широким строем те корабли шли да шли, шли да шли...

Ничего ближе Белого моря Петр найти не мог. И 4 июля 1693 года отправился с немалой свитой в Архангельск.

* * *

– Что же известица-то нет да нет? – сердито спросила боярыня Наталья Осиповна. – Должно, ты плохо ему писала, государю, коли не отвечает.

– Так и государыню Наталью Кирилловну не известил...

Сказала это Дунюшка – и голову опустила.

Аленка, случайно услышавшая это из потаенного уголка, так глянула исподлюбья на боярыню Лопухину – насквозь бы старую дуру прожгла! И ее, и всех Лопухиных, до единого, включая в то число братца Аврашку-дурака.

Только Аленка и сострадает, только она и видит: Дунюшка – словно свечка, которую с двух концов жгут. С одной стороны – государыня Наталья Кирилловна с ближними женщинами: что, мол, государю Петру Алексеичу не угодила, бегаёт от нее прочь, лишнего часа с женой не проведет. С другой – родня, Лопухины, винят, что не сумела мужа привязать да удер-

жать, и оттого на них на всех Наталья Кирилловна уж косится. Когда правительницу Софью одолели и в келью заперли, когда только лопухинский род и вздохнул спокойно, только и обогрел руки у царской милости, только и стал разживаться, вдруг такая неурядица!

Теперь вот и вовсе отправился на всё лето государь в Архангельск, корабли смотреть, в начале июля выехал, когда еще вернуться обещал, и уж едет в Москву, да всё никак не доедет. А завтра-то первое октября число... Писано ему писем, писано! Да только Дунюшку-то зачем корить? Ей отец Карион Истомин письма составлять помогает, с него и спрос!

И до писем ли ей, бедной, было?

Троих сыновей родила Дуня мужу – двоих похоронила. Младшенького, Павлуши этим летом не стало – до писем ли?

Обида за обидой – когда Алексашеньку хоронили, родной отец на отпеванье не пришел. А в ту тяжкую пору Аврашка-дурак с великой радостью появился – потому, мол, государь охладел, что у него в Немецкой слободе зазноба завелась. И выбрала же, змея подколотная, времечко, чтобы на блудное дело его увлечь!

У Дунюшки с мужем постельного дела уж долго не было – сперва, пока чрево еще дозволяло, Успенский пост, потом бабки запретили, потом Алексашенька родился, а как выздоровела – ноченьки три, не то четыре с мужем поласкалась, а тут тебе и Масленица, и Великий пост, и пасхальная седмица – дни, для исполнения брачного таинства запретные, о чем и батюшки в церквах баб всегда предупреждают. Так баба согрешит тайком и покается, а государыне как согрешить, коли вся на виду?

Как раз в начале поста и оказалось, что Дунюшка затяжелела. А когда Алексашеньку донашивала, столкнулся государь Петр Алексеич с той змеей Анной. Рожала Дуня третьего своего, Павлушу, и знала, что этой осенью муж снова как закатится в Немецкую слободу – так и будет появляться в Верху только если матушка, Наталья Кирилловна, особенно строго призовет. И осень, и зиму прожила Дуня в забросе, только слезы от упреков лила.

Наталья Осиповна от таких новостей совсем ошалела: видано ли, чтобы государь с немкой блудил? Лопухины же приступили к племяннику со всей строгостью и злостью: коли таскался за государем в Немецкую слободу, почто раньше про ту змею, Анну, не сказал? Видел же!

Аврашка толсторылый хныкал – кабы то у государя единственная зазноба в слободе была! Он прежде того с подружкой Анны столкнулся, дочкой купца Фаденрейха, и с дочкой серебряных дел мастера Беттихера. А что до Анны – так всем же ведомо, что с ней Франц Яковлевич Лефорт живет, хотя у него и венчанная жена имеется. Но он Анну государю уступил, полагая, видно, что ненадолго. А потом, месяц за месяцем, и стало ясно, что змея Анна исхитрилась государя присушить.

Слободские нравы повергли Лопухиных в изумленье.

– Турки, прости господи! – сказал, крестясь, Федор Аврамыч, уже позабывший, что был когда-то Ларионом.

– Бусурманы!

– Еретики!

– Испортили государя!..

– Нишкни!..

Дико им было, но раз Петр Алексеич не виноват (когда же мужик в таком деле бывает виноват?), то, стало, виновата Дуня! Да и по вере так положено: коли жена любодеица, можно ее покарать и с мужем развести, а коли муж блудлив, жене от него не освободиться ни за что: сама, мол, виновата, что не удержала...

Тем более что Аврашка с перепугу наговорил на немецких девок всяких мерзостей: мол, и тощи, и бесстыжи, и рожи пятнистые, и зубы гнилые, и руки ледяные, не говоря уж о всем прочем. Дядя приступили к завравшемуся племянничку: отколе сие тебе, сопливому, ведомо? Уж не сам ли оскоромился? Сослался на государеву свиту во главе с князем Голицыным и

государевым дядюшкой Львом Кириллычем. Лопухины зачесали в затылках: куда же государыня глядит, коли сын с братом вместе к зазорным девкам ездят? Но не идти же к ней с таким непотребным вопросом!

А Дуня – слушай, да терпи, да реви в подушку!

Удержать не смогла... Да прежняя ли то Дуня, пышная, статная, веселая? От слез и румянца не стало.

Жалко Аленке глядеть на нее, у самой слезки на глаза наворачиваются. В обитель уж и не просится – на кого подружку оставить? Сгрызут ее Лопухины и не подавятся! Только и утешу Дуню – тайно впустить к себе Аленку, сесть вместе на лавочку, выговориться, девичье время вспомнить.

Но как ни таилась в уголке – углядела ее Наталья Осиповна.

– А ты, девка, что тут засиделась? Ступай, ступай к себе в подклет с богом! Сейчас ближние боярыни и постельницы придут государыню к царевичу сопровождать, потом ее укладывать будут! Ступай, ступай, Аленушка...

Вот и пришлось уйти.

На другой день с утра поспешили мастерицы в церковь, как-никак, Покров Пресвятой Богородицы. Самый что ни есть девичий праздник – если хорошенько помолиться, то пошлет Богородица государыне мысль приискать верховой девке жениха. И ведь приищет – исстари так ведется, за своих, верховых, ведомых, отдавать.

Вспомнила Аленка, на коленках стоя в малой церковке Спаса на Сенях, как шептала Дунюшка, стыдась и волнуясь:

– Батюшка Покров, мою голову покрой! Покрой землю снежком, а меня – женишком!..

Ее остороженько толкнули в бок. Рядом на коленках же пристроилась Пелагейка. По случаю праздника был на ней не обычный ее дурацкий сарафанишко из разноцветных суконных покровов, которые нарочно брали у купцов, потому что были края больших портищ ткани исписаны несмываемыми разноцветными буквами и цифрами, так что глядеть весело, а густо-лазоревое цвета нарядная телогрея, кика без медных позвонков – не то, что ей выдавалось раз в год, чтобы государынину службу править, а за свои прикопленные деньги купленное.

– Что не рада? – спросила. – Да не таись ты, свет!

Вздохнула Аленка – Пелагейке всюду зазнобы мерещились.

День в работе прошел, а вечером в подклете, где молодые незамужние мастерицы ночуют, новость сказали – государь уж в Преображенском! Шесть верст до Кремля – а он там ночевать остался, государыне Наталье Кирилловне грамотку прислал, прощенья просил. А жене-то не прислал...

Вздохнула Аленка – хоть бы Пелагейка прибежала сказать... Весь Верх шепчется, одни государыни Авдотьи Федоровны ближние женщины еще и знать не знают, ведать не ведают. Помолясь, легла, а сон нейдет. Хоть бы истосковался там Петр Алексеич по брачному таинству! Хоть бы позабыл там немецкую змею Анну...

Те шесть верст до Кремля государь долгонько одолевал. Сперва в Преображенском отдыхал и обедал, потом в Немецкую слободу к генералу Гордону поехал ужинать. И заночевал...

Ну, чем тут Дуню утешить?

А на другой день в Светлицу государыня Наталья Кирилловна пожаловала – глядеть, как начатую ею пелену к образу Богородицы девки дошивают. С нею же – Марфа Матвеевна, что за покойным государем Федором была, и Дунюшка, только Прасковьи Федоровны не доставало – отправилась на богомолье. Не успела родить дочку Аннушку, как снова полна утробушка. А при каждой государыне – боярыни ее верховые, и казначеи, и карлицы, без карлиц выходить вовсе даже неприлично, их для того и рядят в соболя, а при Наталье Кирилловне – дочь, царевна Наталья Алексеевна, с мамой, наставницей и боярышнями.

Хорошо хоть, не все к рабочему столу кинулись. Встали чинно вдоль стен, карлиц и малолетних боярышень с собой придержали. Первой государыня Наталья Кирилловна к мастерицам подошла. Многих поименно знает, ласково обращается. Дуня, бедняжка, и с мастерицами боится лишнее слово молвить. И боярыня Наталья Осиповна за ее спиной мается – не может дочку защитить.

Подошла Наталья Кирилловна к тому краю, где старушки сидели – Катерина Темирева да Татьяна Перепечина, обе чуть ли не по пятьдесят годков в Светлице. И Аленка к ним поближе пристроилась – мастерству учиться.

Спросила государыня старушек, здоровы ли, глазыньки не подводят ли. Темирева, старуха грузная, да как и не быть грузной, коли полсотни годков сиднем за рукодельем просидеть, прослезилась и забыла, о чем сказать хотела. А Перепечина вспомнила.

Не зря же Аленка к ней два года ластилась, секреты перенимала.

– Дозволь словечко замолвить, – сказала, кланяясь в пояс, Перепечина. – Вот девка, шить выучилась добре, пожалуй ее, государыня, в тридцатницы!

Аленка, вскочив, окаменела с иголкой и шитьем в одной руке и жемчужинкой – в другой.

– Молода больно, – отвечала царица.

– Молода, да шустр. Матушка государыня, она того стоит!

– Довольно того, что в девки верховые взяли, – отрубила Наталья Кирилловна. – Пора придет – жениха ей присмотрю, свадебный наряд построю и приданое дам. А в тридцатницы – это заслужить надо. И разве помер кто из мастериц, что место освободилось?

– Государыня матушка, мы-то дряхлеем, старые тридцатницы. Нам в обитель пора. А эта девка, Алена, уж не больно молода, двадцать третий годок пошел, и ее рукоделье у тебя, матушка, на виду.

– Что ж так мала? Плохо кормят, что ли?

Аленка молча слушала этот разговор. Не отвечать же государыне!

– Она, государыня-матушка, по три деньги кормовых получает, всего-то. У тебя, государыни, мовница грязная, какая половики стирает, по шесть денег в день имеет!

Насчет половиков погорячилась Татьянушка, да с добрым намерением, что царица и поняла отлично.

– По три деньги? – Наталья Кирилловна решительно взяла из Аленкиных рук шитье, поднесла к глазам поближе.

Как все русские государыни, была она искусна в рукодельях, сама вышивала по обещанию для храмов, да и не было в теремах иного развлечения, вот разве что книги божественные. Светских же книг царицы чурались.

Подошла к матери царевна, Наталья Алексеевна, круглолицая красавица с длинной русой косой – недавно ей венец жемчугом низали и камнями усаживали. Тоже взглянуть захотела.

Аленка, временно лишенная работы, стояла, достойно склонив перед царицей и царевной голову, так что при ее малом росте статная Наталья Кирилловна лишь макушку и видела.

– Татьяна Ивановна, поди сюда! – позвала она ближнюю боярыню, Фустову, бывшую свою казначею, у коей сохранилась отменная память на всё, с деньгами связанное. Та плавно подошла.

– Что прикажешь, государыня?

– Вели Петру Тимофеичу давать сей девке по пять денег кормовых, но в старшие мастерицы пока не переводить. В тридцатницы хочешь, девка? Потерпи. Я старых своих мастериц ради тебя звания лишать не стану. Вот прикажет кто из них долго жить – останется двадцать и девять наилучших. Тогда лишь тридцатой станешь.

Аленка низко поклонилась. Всё же это была царская милость.

Царицы обошли весь длинный стол, первой – Наталья Кирилловна, за ней – Марфа Федоровна, а там уж и самая младшая – Дуня.

– Приходи ночью в крестовую... – успела шепнуть Дуня.

Аленка, уже успевшая сесть, не ответила – еще старательнее склонилась над шитьем.

Вишь ты как царица высказалась – когда кто из старых тридцатниц помрет... Что же теперь – смерти кому-то желать? Может, еще и в храм сбегать – попросить, чтобы бог поскорее прибрал?

Очень уж осталась Аленка недовольна такими словами.

Подошла, нарочно приотстав, Наталья Осиповна.

– Приходи, Аленушка, попозже, спроси постельницу Ульяну, она ко мне проведет...

Это было уж вовсе неожиданно.

Поразмыслив, Аленка решила первым делом боярыню навестить. Коли ее рассердить – не будет и коротких встреч с Дунюшкой. Теперь-то Наталья Осиповна подружкам мирволит, покрывает их, доченьку жалея. А коли не захочет?

Пришла она, как велено, и не смогла понять, чего от нее боярыня желает. Мясась и охала Наталья Осиповна.

– Ох, не так-то я тебя растила, да не тому-то я тебя учила... – только и повторяла. – Голубушка ты моя, Аленушка, как же с Дуней-то быть?...

И видно было, что нужно ей о чем-то попросить Аленку, и не могла она, бедная, никак не получалось. Одного от нее Аленка добилась – помогла ей Наталья Осиповна в крестовую проскользнуть.

Горели там лишь три лампадки да стояла на коленях государыня всея Руси – мужем ради немки покинутая...

– Плохо мне, Аленушка, и Покров-то мне был не в радость... – прошептала Дуня. – Куда ни глянь – всюду они, Нарышкины проклятые! Ты думаешь, для чего медведица-то мамой к Алешеньке Параню Нарышкину поставила? Чтобы она меня выслеживала! Она и спит возле кровати Алешенькиной, и бережет его, а я же вижу – от меня она его бережет.

– Параню бог уж наказал, – шепотом отвечала Аленка. – С мужем-то, почитай, и не жила, его совсем молодым стрельцы насмерть забили.

– Всю бы Нарышкинскую породу стрельцы вот так-то забили, как того Ванюшку Нарышкина! – сгоряча пожелала Дуня. – Думал, раз он – царицын брат, так уж и царский венец примерять следует? Легко тогда медведица отделалась – двух братьев стрельцам на расправу отдала, а сама в тереме отсиделась!

– Да что ты такое, Дунюшка, говоришь? – изумилась Аленка. – Да если бы и ее порешили, кто бы Петрушу твоего уберег? Он же совсем несмышленный был, когда государыни братцев забили!

– Ох, Господи, прости меня, неразумную! – На словах Дуня, может, и опомнилась, однако злость в ней кипела. – А дядюшку нашего, Льва Кириллыча, взять? Уцелел тогда – ну и век Бога моли! А он лапушку Петрушу вовсе с пути сбил! Чтобы дядя племянника к ззорным девкам вживал? Аленушка, светик, когда же такое видано?

– А кто тебе напел? – Аленка знала, что молодой дядюшка, восемью годами старше государя-племянника, из родни у него самый любимый, во всех затеях от него не отстает, и если не сопровождает его в проклятую слободу, то зазывает к себе в гости, на Фили или в Покровское.

– Да уж поведали... Кто, как не он да не пьянушка Бориска Голицын!

Аленка сообразила – братец Аврашка потрудился.

– Аленушка, ведь мне и помиловаться с Алешенькой не дают! – Дуня торопилась высказать всё, что наболело. – Она, Паранька проклятая, лучше моего знает, что сыночку нужно! Он еще дитятко – а она, Паранька, уж велит ему книги потешные рисовать, со зверями и с птицами, и потешные книги ратного строю! А писать велено Петьке Федорову, да Ванюшке Афанасьеву, да Ларивошке Сергееву – лучшим! И книгохранительницу она ему мастерить велела! Она – не я!..

Тут Дуня не выдержала – зарыдала, сама себе рот зажимая, чтобы весь терем не переполюшить.

Аленка бросилась к ней, обхватила, спрятала лицо царицыно на груди.

Сколько лет прошло с того дня, как изъявила медведица Наталья Кирилловна свою волю – женила сына на красавице Дуне Лопухиной? Четыре года назад взяли счастливую Дуню в Верх, свадьбу в зимний мясоед сыграли.

А сколько лет прошло с той ночи, когда хитростью Бориски Голицына медведица Софью одолела? Немногим поболее трех. Дунюшка, до полусмерти перепуганная, полночи, пока вещи укладывали, на коленях перед образами простояла, гордилась потом – по ее молитве вышло, не пострадал Петруша, возвысился и ее с собой возвысил.

И наследника долго ждать не заставила. Год с месяцем после свадьбы пролетел – а уж у Дунюшки сынок.

И словно была у нее чаша, вроде тех больших серебряных в позолоте чаш с кровлями, что государи в награждение жалуют, полная счастья и радости чаша, о которой знала Дунюшка одно – Господь ей то счастье и ту радость целиком предназначил. И коснулась она губами края, и нерасчетливо осушила до дна всю ту чашу – и не стало более в жизни радости, ибо всю ее царица испила за полтора года.

Рыдала бедная Дуня самозабвенно, и так уж Аленке было ее жаль – прямо сама бы взяла пистоль и постреляла всех немцев в слободе, и Параню Нарышкину, и медведицу, и дядюшку Льва Кириллыча...

Однако не в медведице на сей раз дело было, и не в Паране Нарышкиной. Проста была Аленка в бабьих делах, однако поняла – это Дуня на всех на них ту злость срыгает и обиду вымещает, которую по-настоящему высказать не может – стыдится. Не Параню – Анну Монсову клянет она сейчас...

А минуточки-то бегут, а ничего уж, кроме всхлипов, от Дуни не добиться... Хорошо, Наталья Осиповна заглянула – и ахнула, и кинулась к доченьке! Передала ей Аленка Дуню, а сама помедлила уходить, глядя на темные образа.

Сколько Дуня молилась, и когда Алексашенька болел, и когда Павлуша помирал... И ведь как молилась – истово! Не знала, бедная, что той ночью в Преображенском не ее молитва Петрушу спасла, спасать-то не от чего было, и верила, что может вымолить у Бога тех, кого любит!

С обидой глядела Аленка на образа, сама того не осознавая.

И вдруг пришло ей на ум такое, что она невольно прошептала: «Спаси и сохрани!..»

Видно, крепко любила Аленка – Дуню, а Дуня – Аленку, коли одно и то же им в головы пришло.

Высвободилась Дунюшка из материнского объятия и кинулась к подружке.

– Подруженька моя единая, Аленушка, светик мой золотой! – зашептала она, жалкая, зареванная, обхватив Аленку сильными руками. – Горлинка ты моя, птенчик ты мой беззлобливый! Ты собинная моя, помнишь, как у матушки нам радостно жилось? Я тебя никому ведь в обиду не давала...

– Не давала, Дунюшка, – закивала, тряся короткой косой, тесно сжатая Аленка.

– Так-то, господи, так-то, как родная жила... – не выдержав воспоминания о собственной доброте, заплакала и Наталья Осиповна. А чтобы ловчее было плакать, на скамью у стены села.

– Так и ты уж не выдай меня, заставь век за себя Богу молиться! Выручай меня, подруженька, не то – пропаду...

– Я всё для тебя, Дунюшка, сделаю! Говори – чего нужно?

Объятие несколько ослабло. Любезная подруженька вздохнула и голову повесила.

– И сказать-то боязно... – прошептала она. – Стыдно... Аленушка, помнишь, как Стешка долговязая жениха у Наташки отсушила? Ведь испортила парня...

– Да уж помню, как не помнить, – удивившись совпадению, отвечала Аленка. – Стешке-то, дуре, как досталось! Кулачиха ей половину косы выдрала, грозилась и всю отстричь. Хорошо, Ларион Аврамыч не стал сора из избы выносить, теперь-то насчет чародейства строго...

– Федор Аврамыч, – поправила Дуня. – Да я и сама никак не привыкну.

– А мне-то каково? – встряла боярыня Лопухина.

И то – тяжело под старость лет мужнино имя переучивать...

– Аленушка, подруженька, всё для тебя сделаю! – и не попросив толком, но полагая, что Аленка поняла ее, воскликнула Дуня. – Если снимут с Петруши порчу, если вернется, если по-прежнему меж нас любовь будет – чего ни попросишь, всё дам! Хочешь – жениха тебе богатого посватаю, в приезжие боярыни тебя пожалую, хочешь – в обитель с богатым вкладом отпущу! А то еще знаешь, чего мне на ум пришло? В обители матушки тебя читать выучат, а я тебя к себе псаломщицей возьму, чтобы не расставаться... Аленушка!..

– А ведь ты меня на грех наводишь, Дуня... – качая головой, прошептала Аленка.

– Ох, грех, грех... Не так я тебя растила, девушка, не тому учила... – вовсе уж некстати подала голос боярыня.

– Я твой грех замолю! – радостно пообещала подруженька. – Наши царские грехи есть кому прощать – коли понадобится, во всех церквах московских, во всех монастырях о тебе молиться станут! Вклады сделаю, в богомольный поход подымусь – всюду сама о тебе помолюсь, Аленушка!

Аленка, потупившись, вздохнула.

– Не то пропаду. Государыня Наталья Кирилловна со свету сживет... Да пусть бы бранилась! Любил бы муж, так и свекровина брань на вороту не виснет... Ведь знаешь, что она мне сказала? Что и я, мол, ту же мороку изведаю, как Алешеньку оженю! Что и мне таково же достанется, как ей сейчас со мной и с Петрушей! А его-то, чай, не винит! Аленушка, чем я ему не угодила? Ведь любил, Аленушка! Сидел напротив, за руки держал... Его испортили, вот те крест – испортили! Немцы проклятые! А порчу снять – это дело богоугодное!

– Тише, Дунюшка, тише!..

По лицу подружкиному решила Дунюшка, что более и уговаривать незачем.

– Мы с матушкой всё придумали! Сами-то не можем, смотрят за нами строго. А ты отпросись у светличной боярыни на богомолье, – учила Дуня. – Коли надо, деньгами ей поклонись! А как выйдешь из Кремля – найди ворожейку, пусть снимет порчу с Петрушеньки!

– Боязно, Дуня... – призналась Аленка.

– Ох, губите вы все меня!.. – вскрикнула Дунюшка. – На тебя-то вся надежда и была! Аленушка, неужто и ты отступилась?

– Поди, поди ко мне! – позвала Наталья Осиповна, и, когда дочь опустилась возле лавки на колени, принялась гладить ее по плечам, нашептывать горькие в ласковости своей словечки.

Аленка стояла, опустив руки. Страшно ей было – греха-то кто не боится? А пуще страха – жалость сердце разрывала.

Первой собралась с силами Наталья Осиповна. Дважды тяжело вздохнула – хочешь не хочешь, а нужно бабе тяжкий груз на себя брать, крест на плечи взваливать, дитя вызволять, на то она и баба...

– Аленушка!.. – Боярыня Лопухина, не поднимая со скамьи тяжелых телес, поманила девушку – и, когда та шагнула к ней, обняла, прижала и вмяла полное лицо в ее грудь, потерлась щекой о шершавую от мишурного шитья ткань сарафана, тяжело вздохнула. – Мы тебя вырастили, вскормили, ты нам разве чужая была, Аленушка? Нам тебя сам Бог послал – мы бы тебя и замуж отдали, кабы ты пожелала, и в монастырь отпустим с хорошим вкладом – только помоги, Аленушка, видишь – погибает моя Дуня!

– Вижу, – отвечала Аленка.

– Возьми грех на душу, девушка, – продолжала Наталья Осиповна. – Пусть только всё наладится, а уж я тебя отмолю! Пешком по монастырям пойду! Видит бог – пойду! Вклады сделаю!

Дуня, стоя на коленях с другой стороны, горько плакала.

– Матушка Наталья Осиповна, я на всё готова, – решительно сказала Аленка.

– Готова? Ну так слушай, Аленушка. Я узнавала – у немцев русские девки наняты, для домашнего дела, за скотиной смотреть. Там стрелецкие слободы поблизости – мало ли гулящих девок, без отца-матери? Эти девки, Алена, не пропащие, не дурные, а только без родителей остались, и ты их не бойся. Вместе с ними ты в ту слободу попадешь. Они тебе и дом той Анны Монсовой укажут. Но перед тем ты найдешь в Замоскворечье Степаниду, прозваньем – Рязанка. Я о ней не раз уж слыхала, на Москве она ведунья не из последних. Расспросишь у стрельчих, она в стрелецкой слободе живет. Пойдешь к той Степаниде, в ножки поклонись, чтобы сделала государю отворот от той бесовской Анны! Самый что ни есть сильный! Алена, мой грех! Я – замолю! Слышишь? Мой!..

Бессильна и грозна, грозна и бессильна была боярыня, как всякая мать брошенной дочери, и жалко было Аленке смотреть на полное, мокрое от слез лицо.

– Аленушка! – Дуня испуганно подняла на нее огромные наплаканные глаза. – Гляди, Петруше бы худа не сделать...

– Какого такого худа? – резко повернулась к ней Наталья Осиповна. – Что на баб яриться не станет? Так и пусть бы, пусть, авось поумнел бы! Коли он в слободу ездить перестанет, то государыня ко всем к нам ласкова станет, а потом уж поглядим...

Видно, долго мучилась боярыня, прежде чем приняла решение, но теперь к ней уж стало не подступиться. Не была она обильна разумом, однако и не могла позволить, чтобы доченьку понапрасну обижали. И, сообразив однажды, каким путем избыть обиду, она бы с того пути добром не свернула.

– Матушка, голубушка, а коли выйдет, как зимой? Ведь не чаяли, что жив останется!

– Вот и выходили на свою голову! Дуня, Дуня, знали бы мы, за кого тебя отдаем!.. Всякая стрельчиха кривобокая своим мужем владеет! Всякая купчиха! Видно, правду говорят – кто во грехе рожден, тому от того греха и помереть!

– Да про что ты, матушка, миленькая?

Аленка уж сообразила – про что. Не напрасно Наталья Осиповна четыре года при дочке верховой боярыней жила – понаслушалась в Верху всякого.

– У государя Алексея всё семя гнилое вышло! – уже без всякого береженья шипела меж тем Наталья Осиповна. – Одни девки удались, а сыны? Кто из сынов до своего потомства дожил? Алексей отроком помер, Дмитрий и Семен – вовсе младенцами несмышлеными! Федор – какой только хворью не маялся! Двадцать годочков только и прожил! Что, скажешь – семя не гнилое? И гниль эта далее пошла! Федору Агафья родить-то родила, да тут же дитя и скончалось!

– А государь Иван? – робко возразила Дуня. – Вот, Прасковьюшка-то ему рождает...

– Государю Ивану? Или постельничьему ихнему, Ваське Юшкову? Весь Терем о том ведает – а государь Иван главой скорбен, его дитя малое вокруг пальца обведет, не то что хитрая баба! Это Сонька затеяла, она Прасковью покрывает, и ждали они от Васьки Юшкова, чтобы сыночка Прасковье дал, тогда будет государству законный, мол, наследник! А она через два месяца после свадьбы твоей Машку родила, через год – Федоську, через год – Катьку, потом Анютку! И далее будет девок рожать, попомни мое слово, такое у того Васьки семя. Непогодны у государя Алексея сыны!

– Это у Милославских кровь гнилая, – вступилась за своего Петрушу Дуня. – А как женился государь на Наталье Кирилловне – и родила она ему здоровенького...

– Ему? Да что ж ты, Дунька, четыре года в Верху живешь, а до правды не добралась? Не сын твой муженек государю Алексею! А чей сын – это ты у свекровищи своей спроси, у медведицы! Она, может, и ведает!

Аленка вскинула было глаза – не впервой слышала она непотребные разговоры про подлинного отца государя Петра и, при всей ее кротости, сильно любопытствовала знать, что же там вышло на самом деле. Но Наталья Осиповна вразумительно, с именами, продолжать не стала.

– Не иначе, от конюха он или от псаря! Только с ними и водится! В стоптанных башмаках, как дворовый мальчишка, носится!

Дуня зажала было уши, но вдруг отняла руки и, стоя на коленях, выпрямилась, глянула матери в лицо.

– Ты что такое говоришь? – крикнула. – Ты про государя такое говоришь? Ты мужа моего лаешь и бесчестишь?

Растерялась Наталья Осиповна. Рот раскрыла.

И то – дочка-то ей Дуня дочка, но – царица. Известно, что бывает, когда царице перечат... Протянула боярыня полные белые руки:

– Да сам себя он бесчестит, Дунюшка... Доченька...

И снова мать с дочерью друг к дружке приникли.

Дивно было Аленке – с каким пылом Дуня за Петрушу своего вступилась, на родную мать прикрикнула.

Притихли боярыня с царицей, вздохнули разом.

– Ну что же, надо от него ту змею подколотную отваживать. Дуня! Не с пустыми же руками Аленке к ней идти...

Дуня, глубоко засунув руку, достала из-под лавки скрытый свисающим суконным лазоревым полавочником высокий ларец-теремок, вытащила его за ручку, в крышку вделанную, и поставила меж собой и Аленкой.

– Знала, что понадобится. Тут у нас то скрыто, о чем никто не ведает, – сказала боярыня. – Из дому привезла да припрятала – мало ли кому придется тайные подарки делать... Кулачиха научила. Вот и пригодилось...

Подруженька, занявшись делом, малость успокоилась. Добравшись рукой до самого дна ларца, выставила на полавочник две невысокие, да широкие серебряные чарки и серебряную же коробочку.

– Вещицы небогатые, да нарядные, – подумав, сказала она. – Как раз ворожейке сойдут. Аленка же залюбовалась тонкой работой.

Чарочки стояли каждая на трех шариках, махонькие – с Аленкину горсточку. Были они снаружи и изнутри украшены сканым узором, в завитки которого была залита цветная эмаль – яхонтовая да бирюзовая, а горошинки белой эмали, словно жемчужная обнизь, обрамляли венчики чарок, стенки и крышку коробочки.

Девушка взяла чарку за узорную плоскую ручку и поднесла к губам.

– Держать неловко как-то, – заметила она.

– Если кто непременно выпить хочет, так и ловко, – отвечала Дуня. – Просто ты у нас, как черничка безгрешная, и наливочки в рот не берешь.

Аленка покраснела – вот как раз от сладкой наливочки и не было силы отказаться.

– Бери спрячь поскорее, – велела Наталья Осиповна. – Незнамо, сможем ли еще поговорить так-то – тайно... Конечно, лучше бы денег дать, да только денег у нас и нет... Что надо – нам и без денег приносят. То-то оно – царское житье...

И унесла Аленка те чарки с коробочкой тайно, и спрятала их на дно рукодельного своего ларца. Но, когда разузнала у мастериц, как отпрашиваться на богомолье, то и обнаружилось – кого другого отпустили бы не глядя, а к ней придирались начнут, потому как привели

ее в Верх Лопухины. Пока сидит тихо и шьет, что велят, придаться не к чему. А начнет о чем просить – тогда увидит! Как ей Наталья-то Кирилловна отвечала? Жди, мол, пока старая тридцатница помрет! А нет чтоб отпустить ту же Катерину Темиреву в обитель, куда она давно просится!

Аленке всегда казалось, что государыня к ней добра. Она и не заметила, что царицын-то ответ неприязнь показывает. Однако, уж коли мастерицы в один голос твердят, значит, так оно и есть.

Тем временем государь Петр Алексеич побывал в Верху, да и улетел, снова побывал – и снова улетел... Мастерицы лишь перешептываются – совсем у него Авдотья Федоровна в опале...

Аленка шепотки слышит – только зубы покрепче сжимает. И в Успенский собор молиться бегаёт – образ она там приглядела. Именуется – Спас Златые Власы. Глянул он девушке чем-то...

На огромном иконостасе, по правую руку от серебряных Царских врат, был тот образ древнего письма. Сказала ей старица, рядом с которой девушка стояла обедню, что власы те и впрямь жидким золотом наведены, оттого столь светлы. И был то – Спас Всемиловитый.

Как уж его Аленка заметила среди великого множества более почитаемых образов – одному Спасу, пожалуй, и было ведомо. В Успенский собор с того дня ходила она, как невеста к жениху, и раз уж предстояло ей однажды за убиенного пойти, то желалось, чтобы он был хоть с виду таков же, как Спас Златые Власы, именно таков, потому что другие образа вызвали почтение, а этот побуждал все свои скорби доверить, ибо был он воистину защитник, воистину воин Господень.

Аленка не умела говорить красно, да и придумать, с чего бы это ей образ так понравился, не смогла бы. Однако именно ему калялась...

Но не расслышал Спас Златые Власы, что она, стыдась, не молитвенными, а своими словечками бормотала. Не отвадил ту девку зазорную, Анну Монсову, от государя.

Вызвала Аленка тайно Пелагейку – пусть своим сильненьким словам научит.

Поверила она в Пелагейкины рассказы, когда выяснилось, что карлица и впрямь то одного, то другого в любовники берет. Летом, когда верховые девки и бабы живут с государынями в подмосковных, она и вовсе совесть теряет – чуть ли не на всю ночь уходит. Осенью да зимой то и дело у Натальи Кирилловны в гости отпрашивается – и в Кисловке, где все приближенные к Верху людишки живут, и в Кадашеве, где царские ткачи поселились, и в стрелецких слободах у нее крестников, теток престарелых да кумовьев полным-полно.

Условились в переходе меж теремами встретиться, когда все заснут.

Уж как Аленка из подклета на цыпочках выбиралась, при каждом скрипе и шорохе камня, про то лучше не вспоминать. И поспешила она – прибежала раньше карлицы. Ждала в полной тьме, хоть глаз выколи, и дрожала.

Вдруг чуть ли не под боком шлепнулось на пол тяжелое, да еще и крякнуло от боли.

– Ахти мне! – прошептала Аленка. – Да кто ж тут? Иисусе Христе, наше место свято!..

– Господь с тобой, девка, я это – Пелагея...

На ощупь добралась Аленка до карлицы, помогла встать.

– Чтоб те ни дна, ни крыши! – ругнула Пелагейка незнамо кого. – Масла, что ли, пролили? Нога поскользнулась, подвернулась, так и поехала...

– Растереть тебе ножку, Пелагеюшка?

– Ангельская твоя душенька! – шепотком умилилась карлица. – Пройдет, светик, всё пройдет. Ну, а теперь говори, для чего меня вызвала?

Спала Пелагейка в царицыных сенях, вместе с девками, не ровен час – проснется государыня Наталья Кирилловна раным-ранехонько, призовет постельниц, а тут и надобно с ними

вместе проскочить, словцо шустренькое вставить, чтобы весело царица день-то начала. Потому и не уходила Пелагейка в подклет, жалась на коротенькой лавочке.

– Ох, Пелагеюшка...

Стыдно сделалось Аленке за свой умысел.

– Говори скорее, светик. Я как выбиралась, девка сенная проснулась, Анютка. Я ей – по нужде, мол, кваску испила, а с него меня и разобрало. Так я долго не могу, поторопись, свет.

– Пелагеюшка... Помнишь, сильным словам обещала выучить?

– Сильным словам? Много их, сильных слов-то! На что тебе?

Кабы не мрак – кинулась бы Аленка прочь, такой жар в щеках вспыхнул. Но удержалась.

– На отсушку... – еле слышно прошептала.

– На отсушку? Да неужто зазноба завелась?... Ох, девка, а кто же, кто?

– Ох, Пелагеюшка! Ты научи – потом скажу, кто...

– Стыдишься? Это, свет, хорошо, – вдруг одобрила карлица. – Одна ты такая тут чистая душенька... Кабы другой девке – ни в жизнь бы не сказала, а тебе слова скажу. Охота мне на твоей свадьбе поплясать. Ты не гляди, что ножки коротеньки, я ведь так спляшу, что иная долговязая за мной не угонится! Государыня сколько раз за пляски то деньгами, то полотном, то пирогом жаловала! Позовешь на свадьбу-то?

Аленка не знала, что и соврать. Наконец Пелагейка сжалилась над ней.

– Но ты, девка, знай – слова то бесовские. Да не бойся! Согрешишь – да и покаешься. Беса-то не навеки призываешь, а на один только разок. Я всегда на исповеди каюсь, и ни разу не было, чтобы батюшка этого греха не отпустил. Дурой назовет, сорок поклонов да десять дней сухоядения прикажет – ну и опять безгрешна!

– Сорок поклонов да десять дней? – не поверила Аленка. – Что ж так мало?

– Разумный потому что отец Афанасий, – объяснила Пелагейка. – Понимает, что по бабьей глупости слова говорю. Ну, слушай. Прежде всего бес креста не любит. И когда заговор будешь читать, крест сними да в сторонке держи.

– Без креста? – Аленке сделалось страшно.

– Велика важность – сняла да надела! Зато слова сильные. Мне их сама Степанида Рязанка дала. Слыхала про Рязанку?

Аленка помотала головой.

– Ворожея она, к ней даже боярыни девок за зельями посылают. Ты вот сходи на Варварку, к Варварскому крестцу, где ворожейки да знахарки собираются и снадобьями торгуют, расспроси! Они тебе скажут – ей и на Варварку ходить не надо, ее и дома сыщут! Ну да бог с ней. Спешить надобно. Ну-ка, запоминай...

Пелагейка помолчала, как бы собираясь с силами, и заговорила с таким придыханием, что почудилось оно перепуганной Аленке змеиным шипом:

– Встану не благословясь, выйду не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, а дымным окном да подвальным бревном...

– Господи Иисусе, спаси и сохрани!.. – не удержалась Аленка.

– Да тихо ты... Услышат!.. Ну, повторяй.

– Не могу.

– А не можешь – так и разговора нет. Коли душа не велит, так и не надо, – сразу отступилась Пелагейка. – Ну, учить ли?

Аленка вздохнула.

Дунюшка несчастная и не такие бы слова заучила, чтобы Анну Монсову от Петруши отвадить. Да и в Писании же велено положить душу свою за други своя...

– Учи...

– Встану не благословясь, выйду не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, а дымным окном да подвальным бревном. Выйду на широку улицу, спущусь под круту

гору, возьму от двух гор земельки, как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий... Как его величают-то?...

И не пришло от волнения на ум Аленке ни одного имени христианского, чтобы соврать! Тяжкую мороку возложила на нее Дунюшка кто ж думал, что еще и врать придется?

– Ну, таись, всё равно ведь выплывет. Так же бы раб Божий Иван с рабой Божьей... ну хоть Феклой... не сходился, не сдвигался. Гора на гору глядит, ничего не говорит, так же бы раб Божий Иван с рабой Божьей Феклой ничего бы не говорил. Чур от девки, от простоволоски, от женки от белоголовки, чур от старого старика, чур от еретиков, чур от еретиц, чур от ящер-ящериц!

Подлинная ярость была в голосе карлицы, когда она запрещала Ивану с Феклой друг с другом сдвигаться. Подивилась Аленка – и с горечью поняла, что сама-то она вовеки так не скажет.

– И можно крест надевать? – первым делом спросила она.

– погоди ты с крестом. Перво-наперво – ночью слова для отсушки говорят, и не в горнице, а на перекрестке. Ночью-то по перекресткам нечистая сила хозяйничает! Да не дергайся ты... Днем-то люди ходят, кто в одну сторону, кто в другую, и крест на землю следами кладут, а ночью там пусто.

– Как же я на перекресток попаду? – растерялась Аленка. – Ну, кабы в Коломенском – там можно выскочить незаметно... А Кремль-то ночью сторожевых стрельцов полон...

– Да, в Коломенском – благодать, – согласилась карлица и вздохнула блаженно. – Сколько я так-то с полуночи уходила, на рассвете приходила...

– Ворожила?

– Любила... Ты не думай, свет, слова мои – сильненькие. А перекресток мы и в Верху сыщем, чтоб под открытым небом. Ты ночью в верховой сад проберись!

– И верно...

Верховых садов было в Кремле два – один, поменьше, под окнами покоев царевен, двенадцати сажений в длину и восьми в ширину, огорожен каменной стенкой с частыми, высоко посаженными решетчатыми окошками, и небогатый – росли в нем крыжовник, красная смородина и малина. Другой устроили над годуновскими палатами, теми, из которых Гришка Отрепьев в окошко выкинулся.

Эту утеху для теремных затворниц еще государь Алексей Михайлыч затеял. Мастера выстелили плоские кровли свинцовыми досками, плотно спаянными, садовники навозили на них хорошо просеянного чернозема аршина на полтора. Дорожки дощатые настелили и песком с Воробьевых гор их усыпали. Посадили яблоньки, груши сарские, вишни, сливы, смородину, цветы, устроили аптекарский огородец и развели там анис, руту, зарю, богородичную травку, тмин, иссоп, мяту.

Стояли в верховом саду беседки, пестро расписанные, на точеных столбиках медные клетки висели с канарейками, соловьями, перепелками. А посередке пруд был с водовзметом, двух аршинов глубины, в нем много лет назад карбусик плавал, красная с золотом лодочка, а на том карбусике государь Петр Алексеич забавлялся.

Можно было туда ночью пробраться, время нечаянно выдалось подходящее – садовники сады к зиме готовили, прибирали, а трудились по ночам, и двери потому бывали открыты. Пелагейка и тут надоумила – как пробраться да где укрыться.

Взяла Аленка грех на душу и темной октябрьской ночью, сняв крест, прочитала, как могла, сильные слова.

И не разверзлось небо, и гром не ударил в грешницу.

Надев поскорее крест, поспешила девушка в подклет, радуясь, что коли не сегодня – так завтра примчится государь к Дуне и будет у них любовь по-прежнему. Любил же, когда Алешенькой тяжела была! В Измайлово с собой возил! Об игрушках Алешенькиных заботился...

Два дня воображала Аленка такую картину: как пойдет она отдавать серебряные чарки с коробочкой боярыне Наталье Осиповне, а та примет ее радостная, и весь Верх дивиться будет, с чего это государево сердце вновь к Дуне повернулось, а Аленка признается боярыне с Дуней, что сама, слабыми своими силенками, такое свершила...

На третий же день стало ведомо – живет государь у немца Лефорта, который в его честь готовит большой пир, и на том пиру будут слободские немки, и Анна Монсова – с ними! Присылал сказать, чтоб не ждали...

Вот те и отсушка...

Пелагейки, на беду, в Верху не случилось – и пожаловаться некому.

Зря, значит, грех на душу взят.

Задумалась Аленка – едва ли не впервые в жизни задумалась о грехах. Раньше – просто знала, за что батюшка на исповеди отругает, а чему значения не придаст. Был у Аленки список грехов, о которых она точно знала – нельзя, не то – в аду гореть будешь. Воровать нельзя, блудодействовать нельзя, сотворять кумира – хоть и неясно, как это делается, однако тоже нельзя, в пост скромное есть, богохульничать, унынию предаваться...

А мужа вернуть его венчанной жене – грех? Змею-разлучницу, немку поганую, от православного государя отвадить – грех?

Да и упрямство в ней обнаружилось. Ранее-то она ему ходу не давала, тихонько сидела. Да и незачем было упрямиться – коли не с первой, так со второй или с третьей просьбы отпускала ее Наталья Осиповна в Моисеевскую обитель, к советам в пяличном деле вся лопухинская дворня прислушивалась, а более она ничего и не домогалась.

Мысли о грехах, упрямство, да еще стыд в глаза Дуне и боярыне Лопухиной поглядеть, коли не выполнила она просьбы (подношение Степаниде-то Рязанке – вон оно, на дне ларца в узелке прощупывается!), сделали то, что отважилась Аленка – без спросу из Кремля ушла. Днем-то нетрудно, полон Кремль людей, на площадях торг идет, в церквах – службы, где венчают, где крестят, где отпевают. Вышла Аленка как бы в Успенский собор помолиться, все мастерицы знали, что она туда ходит, и – ходу!

Решила девушка так – побывав у Степаниды Рязанки, отправится она в лопухинскую усадьбу, и пусть Кулачиха ее там спрячет, а сама исхитрится весть боярыне подать. Когда же у Дуни с государем всё наладится, уж придумает она с матушкой, как Аленку в Светлицу вернуть, а нет – отпустит наконец в обитель.

Москвы Аленка не знала. Разве что дорогу от Моисеевской обители по Солянке к лопухинскому дому, да в церковь Всех святых, что на Кулижках, да в Богородицерождественскую – а чего тут не знать, коли они на той же Солянке? Потому и сбилась с пути, и оказалась возле дома Степаниды Рязанки уж когда стемнело.

Домишко тот, как Аленке и растолковали, стоял на отшибе, на краю слободы. Аленка узнала его еще и потому, что, невзирая на поздний час, сквозь плотные занавески теплился слабый свет. На улице не было ни души.

Аленка подкралась, затаилась под окошком. Там, в доме, были двое, но о чем говорили – не понять. Вспыхнуло вдруг за плотной занавеской, подержалось светлое пятно, колеблясь, и растаяло. Лишь когда растаяло – сделалось страшно.

Аленка перекрестилась и прочитала «Отче наш».

Дверь отворилась, на порог вышла женщина с ребенком на руках.

– Уж я тебя отблагодарю, Степанида Никитишна, – сказала она, обернувшись. – Век за тебя молиться буду.

– То-то, отблаговаришь... Завтра в остатний раз прийти не забудь, – грубовато ответили из глубины сеней. – Беги уж, господь с тобой...

Молодая мать перехватила дитя поудобнее и сошла с крыльца, шаря носком чеботка ветхие ступеньки, и заспешила, оглядываясь.

Пока дверь не затворилась, Аленка взбежала и встала на ступеньке.

– Впусти, бога ради!.. – попросила она.

– А ты кто такова? – ответили из темных сеней.

– Аленой зовут.

– Ален на Москве немерено.

Аленка опустила голову. Ей бы следовало за время сиденья под окошком придумать, что бы сказать этой незримой и неласковой Степаниде.

– Прислал-то тебя кто? – Ворожея, видя, что девка растерялась, пришла ей на помощь.

Тут Аленка еще ниже голову повесила. Как ей было сказать, что слышала про Степаниду Рязанку в самом Верху, в покоях государыни царицы? Да такую верховую гостью ворожея, пожалуй, ухватом из дому выбьет!

– Впусти, бога ради, – повторила девушка и коротко вздохнула. – Не то пропаду.

И заступила порог.

– Хитра, девка! – сердито воскликнула Рязанка, и Аленка не поняла сразу, к чему бы это. – Да заходи уж! Кому говорю?

Этакое приглашение было страшнее вспыхнувшего на занавеске пятна. Аленка окаменела.

Крепкая рука ухватила ее и втянула в сенцы, а сама хозяйка вышла на крыльцо.

– Катись катаньем, доля худая, разлучница-кумушница! – сказала она негромко, но внушительно. – Катись, не катись, у порога не крутись, за крыльцо не цепляйся, на воротах не виси! Песья, лешова, воронья подмога, катись от порога!

И потянулась к серпу, заткнутому в стреху над порогом для обереженья от нечистой силы. Там же, как заведено, висели для той же надобности пучки крапивы и чертополоха.

Аленка, не дожидаясь, пока неведомая ей разлучница-кумушница ответит Никитишне, проскочила в комнатку.

Там сильно пахло пряными травами. Видно, и в деревянной ступке на столе тоже толклись они. И ничего, что указывало бы на связь с нечистой силой, Аленка с первого взгляда не обнаружила. Дом свой ворожея вела чисто, а что до трав, сушившихся по всем стенам, так этого добра и в прочих домах хватало. Они тут были всюду, даже вокруг киота с образами.

Увидев темные лики, Аленка малость успокоилась, поклонилась им, перекрестилась, сотворила молитву.

Потом огляделась.

Ни колыбели, ни постели на лавке она не увидела. Ворожея, похоже, жила тут одна.

Тем временем Степанида Рязанка вернулась в сени, заложила засов и ступила в комнату.

– Шустрая! – неодобрительно сказала она. – С чем пожаловала?

Аленка вздохнула и не ответила. Потом нерешительно подняла глаза на ворожею – и ахнула.

Баба оказалась кривой.

Под кикой на ней был платок, спущенный на лоб наискосок, чтобы прикрыть бровь и глазницу. Щека, сколько можно разглядеть, тоже была попорченная.

Зато единственный глаз уставился на девушку строго и грозно.

– Ты, матушка, что ли, Степанида Рязанка? – поразившись этому уродству, о котором Наталья Осиповна и Пелагейка то ли не знали, то ли умолчали, спросила Аленка.

– Иным разом и Рязанкой кличут, – согласилась одноглазая ворожея. – А ты Степанидой Никитишной назови – тогда поглядим.

Аленка торопливо развязала узелок и выставила на стол лопухинское сокровище.

– Ларчиком и чарками, Степанида Никитишна, тебе кланяюсь... – прошептала она.

– Да уж не парня ли тебе приворожить? – удивилась Никитишна. – Бедная ты моя, этого я тебе сделать не могу...

Она взяла серебряную чарку за узорную плоскую ручку, поднесла ее, пустую, как бы приноравливаясь пить, к губам, и Аленка подумала, что вот еще одному человеку это движение показалось неловким.

– Ступай, ступай, и приношеньице свое забирай, верни туда, где взяла, – без всякого сожаления поставив на стол вещицу, приказала ворожея. – Мне своих бед хватает... Да не ходи сюда боле!

Уходить Аленка никак не могла.

– Да что же ты, приросла к половице, что ли? – возмутилась ворожея. – Ступай, девка, не гневи бога. Твой жених еще не скоро тебя под венец поведет. Беги, беги, пока мать не хватилась!

Тут лишь Аленка поняла, что Рязанка, как и многие, сочла ее девчонкой-подростышем, да и заподозрила вдобавок, что чарочки с коробочкой – из материнского ларца краденные.

Она выпрямилась, вытянулась и посмотрела ворожею в лицо, в единый глаз.

– Не пойду я никуда, – сказала она. – Сделай божескую милость, матушка Степанида Никитишна, помоги! Не поможешь – так тут и останусь.

– Оставайся, – усмехнулась баба. – А каково тебе возвращаться будет? То-то косенку тебе переберут, косник не к чему цеплять станет!

– Если ты, матушка Никитишна, не поможешь, то и возвращаться незачем, – прошептала Аленка. Так ведь оно и было – не выполнив Дунюшкиной просьбы, она вовсе не посмела бы показаться на глаза подруженьке. А коли вспомнить, что из Кремля она попросту удрала?...

– Уж не в петлю ли ты, девка, собралась? – забеспокоилась ворожея. – Брось. Пустое это. Наживешь себе еще паренька... Тебе не к спеху.

Она оглядела Аленку повнимательнее, оценила ее наряд – в Светлице шитую телогрею из темно-синей зуфи со связанными на спине длинными рукавами, верхнюю сорочку из алой шиды, тонкой (своей!) работы зарукавья, шелковую кисть косника, и поняла, что девка – не из бедного житья. Да и насчет возраста усомнилась. Кто станет недоросточка так наряжать? По одежке Аленка гляделась девкой на выданье.

– Сколько лет-то тебе?

– Двадцать два на Алену равноапостольную исполнилось.

– Что ж ростом не удалась? А не врешь?

– Вот те крест, не вру.

Аленка честно перекрестилась.

– Вот не поверила бы... Ну, присаживайся, что ли.

Аленка села на лавку, Степанида Рязанка встала напротив, коленками на стулец, локтями на стол, подперлась и вздохнула.

– Говори уж, чего надо.

– Отворот нужен, – прошептала девушка. – Самый сильный, какой только есть.

– Слабый отворот, стало быть, уж испытала? – насмешливо спросила ворожея. – Ну и что же ты такое проделала?

– Заговор читала.

– А как ты его читала? – вдруг заинтересовалась ворожея.

– Ночью, на распутье.

– Это правильно. Ты помнишь его?

– Помню...

– Произнеси! – потребовала Рязанка. – Ну-ка, сейчас как раз к полуночи близко, давай, голубка!

– Крест сымать? – безнадежно спросила Аленка.

– Сымай, – подумав, велела ворожея.

Аленка выложила на стол свой крестильный крестик серебряный. Никитишна взяла его на ладонь, зачем-то, прищулив единое око, разглядела.

– Потемнело серебро-то, девка, – непонятно для чего сказала она.

– Всё время темнеет, – пожаловалась Аленка.

– Плохо. И не разумеешь, с чего?

– Не разумею.

– Ну, говори.

Аленке вспомнилось зловещее бормотание карлицы Пелагейки: «...встану не благословясь, выйду не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, а дымным окном да подвальным бревном...» Увиделось и широкое смуглое лицо, в которое всякое слово заговора словно добавляло злобы.

– Встану не благословясь, выйду не перекрестясь, – робко, словно на том распутье, произнесла она, – из избы не дверьми, из двора не воротами, а окном... окном...

– Дымным окном да подвальным бревном, – подсказала Никитишна. – Нельзя спотыкаться. Давай-ка смелее!

– Выйду на широку улицу, спущусь под круту гору, – продолжала Аленка, – возьму от двух гор земельки, как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной не сходилась, не сдвигался... не сдвигался...

– Да не спотыкайся ты! – прикрикнула ворожея.

– У меня на такое памяти-то нет, – пожаловалась Аленка, – я и молитвы-то пока запомнила...

– Это всё, что ли?

– Нет... Гора на гору глядит, ничего не говорит, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной ничего бы не говорил. Чур от девки, от простоволоски, от женки от белоголовки, чур от старого старика, чур от еретиков, чур от еретич, чур от ящер-ящериц!

Аленкина рука сама вознеслась было, чтобы осенить девушку крестом. Но креста-то как раз на шее и не было. Аленка, вдруг испугавшись, схватила его со стола, торопливо накинута на шею гайтанчик и пропустила крест под сорочку.

– Не помогло, стало быть? Ох, дура девка... Кто же так отворот-то произносит? Слова в нем слабые, никудашные, замка в нем нет. Какая дура тебя этому научила?

Аленка потупилась.

– Вот то-то дуры вы, беретесь за дело, не умеючи, – помолчав, сжалась Степанида. – Ты когда приворот или отворот говоришь – как иголкой с ниткой прореху зашиваешь, поняла? А узелка не сделаешь – и опять прореха будет. Поняла?

Аленка закивала.

– Если ты, скажем, богородичный заговор на здоровье дитяти читаешь, начинаешь с того, как Богородица на престоле сидит или по дороге идет, то заканчивай его так – не я заговариваю, заговаривает Пресвятая Богородица своими устами, своими перстами, своим святым духом!

– ...своими устами, своими перстами, своим святым духом... – зачарованно повторила Аленка.

– Или, скажем, лихорадку утишаешь. Ей приказать нужно... – Ворожея вдруг вся подобралась, как кошка у мышиной норы, слышав шепот, и негромко, но весомо произнесла: – Тут тебе не быть! Червоной крови не пить с порожденного, молитвенного, крещенного раба Божия! Во веки веков! Аминь!

Вдруг она усмехнулась Аленке.

– Вот то и будет замок. Или еще можно совсем по-простому. Скажи – ключ небо, а замок земля. Вот небо с землей твой заговор между собой и замкнут. Или еще – слово мое крепко, аки камень, аминь, аминь, аминь. Ну да ладно, с чего мне тебя уму-разуму учить? Что далее сотворила?

Аленка не сразу поняла, что речь зашла о ее неудавшемся заговоре.

– Крест скорее надела, домой побежала...

– И всё?

Аленка кивнула.

– Да явственно же сказано – возьму от двух гор земельки! – возмутилась Никитишна. – Не на перекресток нужно было выходить, а встать ну хоть меж двух холмиков. Земли две пясточки с них взять, смешать, воду на той земле три дня настаивать и той водой молодца напоить! Какая только дуреха тебя так скверно научила?

– У нее-то получалось! – обиженно пискнула Аленка.

– А у тебя вот не получилось. Тут еще и злость много значит. Когда наговариваешь на питье или на еду, злиться надобно...

За неимением еды Никитишна возложила руки на ступку и заговорила с тихой, от слова к слову растущей яростью:

– Выйду я на широку улицу, спущусь под круту гору, возьму от двух гор земельки. Как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной не сходил, не сдвигался! Чтоб он ее возненавидел, не походя, не подступя, разлилась бы его ненависть по всему сердцу, а у ней по телу, на рожество, не могла бы ему ни в чем угодить, опротивела бы ему своей красотой, омерзела бы ему всем телом, чтоб не могла она ему угодить ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, чтобы он – в покой, она – из покоя, он бы на улицу, она бы с улицы, так бы она ему казалась, как люта медведица!

На последних словах ворожея приподнялась над столом, раздвинув локти, сгорбившись, идохнула Аленке в лицо – и почудилось той, что над ней и впрямь медведица нависла.

– Ох, спаси и сохрани!

– То-то, девка. Но один заговор на тех же рабов Божьих дважды не произносят. Тебе иное нужно.

– А сделаешь иное?

Никитишна посмотрела на девушку пронизывающе.

– Сделать могу. Да всё одно ничего у тебя, горькая ты моя, не выйдет. Зря время потратишь и травку изведешь. Есть у меня сильная травка, на великоденский мясоед брана, травка-прикрыш. Она иным разом свадьбу охраняет, а иным – брачную постель портит. Всё от слов зависит.

– Как это не выйдет? – возмутилась Аленка. – Ты мне только ее дай, я всё сделаю! И словам меня научи!

– Для кого стараешься-то? Для сестрицы, чай? – спросила ворожея.

– Для подруженьки, – отвечала несколько изумленная такой проницательностью Аленка.

– А что ж подруженька сама не придет?

– Стерегут ее.

– Вот я и толкую – одна ты не справишься, ничего у тебя не выйдет. Ну, наговорю я на травку-прикрыш, изготовлю подклад и засунешь ты его той разлучнице Анне под перину...

– Ну?...

– Так ведь мало этого! Вот послушай, девка. Подклад – это непременно, чтобы меж ними телесного дела не было. А тоска-то у того Петра по той Анне останется? Стало быть, нужно его от тоски отчитывать. Это, пожалуй, и мать, и бабка могут.

– Мать? – переспросила Аленка в ужасе. При одной мысли о Наталье Кирилловне ей нехорошо сделалось.

– Хорошо бы мать, это такие слова, что лучше помогают, когда родная кровь нашепчет. А потом – три, а то и четыре сильных приворота, чтобы этот Петр твою подруженьку опять полюбил. И смотреть, чтобы после того никто его испортить не пытался!

– А как смотреть-то? – спросила ошарашенная всеми этими словами Аленка.

Ворожея лишь вздохнула.

– Коли у твоей подруженьки родная мать жива, пусть бы она пришла. А тебе в это дело лучше не мешаться. Проку от тебя тут, девка, не будет, окромя вреда.

– Да я для Дунюшки всё сделаю! – взвилась Аленка.

– Ты много чего понаделаешь. Уж и не знаю, давать ли тебе подклад...

– Степанида Никитишна, матушка, век мы с Дуней за тебя Бога молить будем! В поми-
нанье впишем! – горячо пообещала Аленка. – Только помоги!

– Помочь разве?...

Ворожея призадумалась.

Аленка смотрела на нее со страхом и надеждой.

– Ладно. Сейчас изготовлю подклад. Наговорю на травку-прикрыш, увяжем мы ее в лос-
кут, понесешь ты ее к дому, где та разлучница живет, и засунешь ей под перину. Хорошо бы
еще перину подпороть и в самую глубь заложить, чтобы никогда не сыскали. Однако в чужом
доме у тебя на то времени не хватит. И слова скажу, с какими подкладывать. Через три дня
придешь – тогда подумаем, что тут еще сделать можно. Да только кажется мне, что не скоро я
тебя теперь, девка, увижу... Вот кажется – и всё тут...

Степанида пристально поглядела на Аленку, засопела, покрутила носом – как если бы
от девушки странный дух шел, и повернулась, стала шарить по стенке, где одни травы под
другими висели. Вдруг обернулась: – Только гляди! Остерегайся! Поймают – долго ты мою
ворожею расхлебывать будешь! А коли меня назовешь...

Степанида Рязанка так уставилась на Аленку, что у той перед глазами всё поплыло и
поехало.

– ...под землей сыщу! Бесовскую пасть на тебя напущу!..

Ведунья оскалилась с шипом.

– А бесовскую пасть с тебя никто снимать не захочет – побоятся! И сожгут тебя, аки силу
сатанинскую, в срубе!

Более Аленка ничего не слышала и не видела.

Очнулась она, стоя посреди дороги. Как сюда дошла, зачем здесь оказалась – не вспом-
нить. И при себе ничего нет... Ох, Дунюшкины чарочки!..

Аленка принялась охлопывать себя руками, как будто чарки с коробочкой могли под
одежду заползти. И обнаружила, что ворот ее рубахи развязан, и сунут ей за пазуху какой-то
колючий сверток. Она вытащила, отвернула край лоскута, понюхала – трава сохлая... Лучины
в ней какие-то, с двух концов жженные, тряпочка скомканная, перышко... Спаси и сохрани!

Не сразу поняла Аленка, что это подклад для Анны Монсовой. Как вспомнила – сразу
успокоилась. Чарочки, стало быть, у ворожеи остались. А теперь как быть? Неужто в самую
Немецкую слободу бежать? Среди ночи?

Однако светлело уж небо. И не было у Аленки желания лечь вздремнуть. Уж неизвестно,
что над ней проделала Степанида Рязанка, но бодрость духа вновь проснулась в девушке. Что
ж, коли надо в Немецкую слободу – иного пути нет, придется днем пробираться в слободу. В
Верх-то возвращаться всё равно нельзя. И к Кулацихе, дела не сделав, тоже.

Вздохнула Аленка – не менее тяжело, чем Степанида Рязанка, – и побрела на дальний
колокольный звон. Отстоять заутреню – дело для души полезное, опять же, в церкви и теплее...

* * *

Правду говорили светличные мастерицы – в Немецкой слободе с возвращением государя
Петра Алексеича от праздников продыху не было. То у генерала Гордона, то у Лефорта, а то
еще всякая слободская теребень да шелупонь повадилась звать государя на крестины!

И что ни ночь – потеха огненная, колеса в небе крутятся, стрелы летают, а иногда и вовсе буквы вспыхивают, страх! Не к добру в божьем небе такие безобразия устраивать, не к добру... Девки, что работали в слободе по найму, видели все эти еретические и колдовские небесные знамения из-за реки. Собственно слобода, куда еще при государе Алексее Михальче всех немцев от греха подале сселили, была по одну сторону Яузы, а Лефортов дворец, где устраивались потехи, – по другую. И немцы ездили туда на лодочках.

Те же девки подтвердили и другое – недаром на Москве прозвали это место Пьяной слободой. Свои природные питухи – государев дядюшка Лев Нарышкин да бывший главный советчик Бориска Голицын, оставшийся при царе лишь любимым собутыльником, – нашли себе наконец, с кого брать образец! Франсишка Лефорт каким-то образом умудрялся пить, не пьянея. Прочие же к утру набирались до такой степени, что забредали в неожиданные места, и не раз приходилось спасать их, выуживая из пруда перед Лефортовыми хоромами – выкопанного, надо думать, именно для той надобности, чтобы питухов протрезвлять, поскольку был он невелик, в три взмаха веслами на лодчонке пересечь.

А свалиться туда, выходя из хором, было проще простого – дворец стоял на взгорье, от пруда к крыльцу вела лестница, иначе – не попасть, взгорье кустами засажено. Кто только тех ступенек затылком не считал! И кто в тех кустах не отсыпался...

Узнала у них Аленка и про Анну Монсову. Аврашка Лопухин соврал – девка считалась тут красавицей, вокруг нее прежде так и вились, пока государь Петр Алексеич к себе не прибризил. А коли его нет – так сам Лефорт в доме у золотых дел мастера Монса живмья живет. Вообще-то у того две дочки на выданье – вторую, старшую, девки, к Аленкиному удивлению, называли Матреной Ивановной. Но ведь и Гордона они же звали Петром Ивановичем, хотя никто его Петром не крестил, а просто имечко заморское москвичам было не выговорить. Видно, и Монсову дочку русские гостеньки Матреной потому же прозвали.

Девкам наемным жилось у немцев неплохо, а на ночь они по домам расходились, тут не было заведено, чтобы вся дворня в одном подклете спала. Аленка, проходя, дивилась каменным домам с большими окнами, а пуще того – горшкам с цветами на подоконниках. Дивилась и тому, что не прятались домишки за высокими заборами, не стояла у ворот, глумясь над прохожими людьми, челядь. Жили немцы попросту – то и дело в дома входили, из домов выходили, двери – нараспашку, словно о ворах и слыхом не слыхивали. Безалаберно, словом, жили. И лишь к вечеру, когда наемные убрались прочь, притихла слобода.

Аленка высмотрела дом Анны Монсовой, неподалеку от него новый каменный дом кто-то строить затеял, она там и укрылась. Сама Анна, видать, еще днем отправилась на тот берег Яузы, в Лефортов дворец. И сестра Матрена с ней вместе. Тих был дом – но это еще не означало, что пуст.

Из-за реки ветер музыку донес... Аленка насторожилась – и тут же раздались голоса. То ли от Монсова дома, а то ли от соседнего немцы к реке торопливо пошли, и немало их было – мужчин человек шесть, четыре женщины, у женщин на головах то ли из шелка, а то ли из тафты накидки, у шеи шнурками стянутые, края вперед торчат, лица прячут, не понять – старые или молодые. Может, одна из них и есть та Анна?

Весело переговариваясь, ушли эти немцы к Яузе, стали там кричать, – должно лодку окликать. А тут из-за угла и другие – две бабищи восьмипудовые да мужик с ними – тот, пожалуй, пудов в девять будет... Идут вперевалочку, разряженные, довольные – как их только лодка поднимет?

Эти ушли к берегу, а по песчаной дорожке пробежали две девки – обе не то чтобы совсем простоволосые, какие-то высокие кружевные шапочки странного вида на них были, тонкой работы, с лентами удивительных цветов, и сквозь кружево были пропущены выложенные на лбу завитки волос. Однако эти вольно разметававшиеся волосы смутили Аленку – на Москве и зазорные девки, что на Неглинке поселились, причесывались гладко, опрятно.

Но про то, что в Немецкой слободе и замужние женки не стесняются показывать волосы, она уже слыхала. Поразило ее иное – до острой жалости к бедным немецким девкам поразило!

Обе они были стянуты по животикам так, что, казалось, одной рукой можно охватить каждую, и если бы измерить у каждой веревочкой охват стана – и аршина бы, видно, не набралось.

Тем не менее за этими лишенными всякого дородства девками в полосатых, подобранных на боках юбках, из-под коих виднелись другие, также полосатые, бежали два молодых немца, придерживая оперенные круглые шляпы на длинных кудрях. Аленка уж знала, что мужчины здесь носят накладные волосы, надо лбом – высоко взбитые, далее – кудерьками, и у иных те кудерьки чуть ли не по пояс, чего с природными волосами ни за что не получится. Она подумала, что по осеннему да зимнему времени не так уж это глупо – может заменить меховую шапку.

Те немцы, забежав вперед, раскланялись с прыжками и завели какой-то вовсе вольный разговор, с громким хохотом. Притом же и девки не стеснялись отвечать им, и хохотать, и пустились в конце концов обе наутек, развеивая юбками, как бы зазывая своих любовников.

Аленка, следуя за ними, примечала...

Немецкие девки были тонки, вертлявы, голосисты, бесстыжи. Но немцам, видно, всё это нравилось. И если та, проклятая беспутная Анна, здесь – первая красавица, то, что же, она – тоньше, шумнее, вертлявее прочих? Как же это может нравиться государю? После статной, выступающей, как лебедь плывет, тихогласной красавицы Дунюшки – полюбить этакую обезьяну?

Шумная молодежь спустилась к Яузе, где были привязаны лодочки – нарядные, с цветными флагами на корме. Один немец прыгнул в лодку, протянул девице руку, потом – другой, они долго усаживались, расправляя наряды, и всё это у них получалось весело, празднично. А Дуня-то уже и забыла, что праздники на свете бывают. Один у нее в году день, когда все ее чествуют, – именины. Так именно в этот день мужа, чтобы для него Наталья Кирилловна приказала именины невестки праздновать, и не было, в Архангельске по кораблям лазил.

Многие, очень многие получили приглашение на пир и гулянье к Францу Яковлевичу Лефорту. Одни разве что старики да малые дети дома остались в той части слободы, где жил приятель Лефорта – Монс. Спешили по улицам, пока не стемнело, последние припоздавшие гости, женщины, туго перетянутые, в тонких накидках поверх открытых платьев, и мужчины – в кафтанах из бархата и золотной ткани по колено, в башмаках со сверкающими пряжками, в накладных кудрях, и под каждым округлым, сытым да бритым подбородком топорщились складки нарядного галстука – кисейного или тафтяного.

Аленка выждала за углом, пока последние приглашенные не спустятся к причалу да не сядут в лодочку.

И тогда слобода как будто вымерла. Аленке чудилось, что она здесь, среди каменных строений, – одна живая. Временами из-за Яузы доносилась музыка – непривычная, однако приятная.

Дом золотых дел мастера Иоганна Монса (назвав его, разумеется, Иваном Егорычем, а супругу его – Матреной Ефимовной) Аленке еще днем указали и растолковали – вот наступит вечер, начнется великое гулянье, и тогда из дому хоть печь выноси, не заметят. Потому что заведено: осенью – пировать.

Аленка решила, что это не так уж и глупо. Начинаются дожди, не то что на дорогах – в самой Москве на улицах вот-вот телеги начнут вязнуть, на площадях после непогоды пешие чуть не по пояс в грязь проваливаются. Даже богомольные старые боярыни откладывают выезд в загородную обитель, пока не встанет санный путь, даже приезжие боярыни государыню почитают что не навещают – жалеют колымаги золоченые, шелками внутри обитые, колеса, серебром окованные, поломать бояться, подобранных в масть возников берегут. И бояре, что постарше,

дома сидят, а что помоложе – верхом в Кремль приезжают. А раз пути нет, то и торговли нет, и дела откладываются. Что ж не попить? Тем более – не пост, мясоед...

Дома в Немецкой слободе стояли открыто, у невеликих крылечек росли во множестве низкие кусты – видно, весной да летом они вовсю цвели. Крылечки те были малы, потому как большого крыльца с кровлей и крытой лестницей такому дому не надобно: жилые горницы поставлены не на подклетах, подниматься в них не приходится, и большие окошки до того низко – подходи да гляди, что в домишке деется.

Аленка вернулась от берега и покрутилась возле Монсова дома. Свет вроде наверху горел, слабенький, может – в лампадке перед образом, но было тихо, ни мужского голоса не слышалось, ни женского. Набралась она духу, толкнула дверь – и дверь оказалась открыта. Тогда Аленка, перекрестясь, вошла.

Страшно ей сделалось до жути – никогда ведь раньше в чужие дома воровски не забирались. И где здесь что? Где сам мастер Монс спит? Где – дочка его треклятая? И ведь не одна у него дочка! Вот и разбери...

В нижнем жилье было тесно – света из единственного в сенях окошка хватало, чтобы разглядеть широкую витую лестницу в верхние покои и две притворенные двери.

И тут Аленка услышала, как бежит-торопится человек по улице, несется мелкими шажками. И влетел человек вслед за ней – она только и успела под лестницу шарахнуться. И оказалась это девка молодая, и задыхалась она от слез.

Девка, не споткнувшись впотьмах ни разу, взбежала по знакомой лестнице и там, наверху, хлопнула дверь.

Уж не Анна ли Монсова? Или Матрена?

То, что девка ворвалась в свой дом с гулянья зареванная, означало для Аленки скорое явление мамок и подружек. Ей и на ум бы не взбрело, что в девичью светлицу может войти мужчина. Уж на что не понравились ей немецкие девки, а такого непотребства она даже и про них помыслить не могла.

А суета галдящего бабья была Аленке вовсе ни к чему. Ей совершенно не хотелось, чтобы ее вынули сейчас из-под лестницы с отворотной травкой за пазухой. Она решила выскользнуть из Монсова дома, переждать и попытаться снова.

Но стоило ей шелохнуться – как одна из дверей нижнего жилья скрипнула.

Сперва Аленка решила, что это не дверь, а половица под ее ногой, замерла, а пока она стояла на одной ноге, скрип повторился.

На сей раз он был куда громче и протяжнее.

Кто-то из темноты шагнул в иную темноту. Ведя рукой по стене, этот человек прошел к окну – и Аленка на мгновение увидела очертания лица.

Это был мужчина с непокрытой головой, без накладных волос, довольно высокий, горбоносый и – бородатый! Борода была недлинная и как бы топором обрубленная, а более Аленка и не разглядела. Он оказался у двери, ведущей на улицу, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы протиснуться, и исчез. Тут же Аленка услышала некие железные лязги и скрежеты – он что-то сделал с дверью.

Сообразив, что она, возможно, заперта в доме, девушка кинулась прочь – и не смогла выбраться наружу. Метнувшись к окну, она увидела того человека – он торопливо удалялся прочь.

Аленка чуть не ахнула вслух – на нем было долгополое русское платье.

Но нужно было поскорее уносить ноги из этого проклятого дома. Пусть даже выставив окно, – тут-то Аленка и порадовалась, что в немецких домах они прорублены до смешного низко. Она принялась ощупывать подоконник – и тут перед ней за стеклом обнаружился человек – тоже мужчина, тоже немалого роста, но на сей раз – в немецком коротком платье, топырящемся на боках, и в накладных волосах. Этот мужчина стоял напротив дома, на таком рас-

стоянии, что Аленка видела его всего целиком – от шляпы, увенчанной чем-то лохматым, до башмаков с пряжками.

Он подобрал камушек, размахнулся (Аленка в ужасе съежилась за подоконником) и запустил вверх. Стукнув в оконный переплет, камушек упал наземь. Очевидно, этот человек вызывал наружу девку – может, Анну Монсову, а может, ее сестрицу.

Наверху шаги слышались – так что для Аленки не было иного пути, кроме как нырнуть обратно под лестницу.

Девка, на сей раз с подсвечником на одну свечу, спустилась, поставила подсвечник на подоконник, отперла дверь, впустила того мужчину, сказав ему нечто сердитое, и, когда он оказался в доме, вдруг бросилась к нему на шею.

– Анне!.. – весомо и укоризненно начал было он и прибавил еще какое-то лопотанье, но девка не дала ему продолжить.

Они стали целоваться...

Алена глазам и ушам не верила – ведь знал же весь Верх, что государь Петр Алексеич немку к себе приблизил! А она, немка? Что же для нее, государева милость – как драная вехотка?

Мужчина отстранил от себя Анну Монсову, принялся ей что-то втолковывать. Аленка не видела их лиц, но чувствовала – девка очень его словами недовольна. В конце концов немцу удалось настоять на своем – она вздохнула и покорилась. Она отстранилась от него, и толкнула дверь, и вышла первая, а он поспешил за ней следом.

Лязга и скрежета на сей раз не было.

Аленка поняла, что сможет беспрепятственно выбраться из дома.

Она поднялась по лестнице, вовсе не подумав, зачем бы той Анне оставлять на подоконнике горящую свечу, лестница уперлась в приоткрытую дверь, Аленка вошла и оказалась перед выбором – в узкий коридор выходили три двери, и поди знай, за которой – опочивальня треклятой немки!

Аленка заглянула в первую – и обнаружила спящее дитя.

Это был прехорошенький мальчик, по видимости – самый младший сынок Монсов.

И не было рядом ни мамки, ни няньки, ни захудалой сенной девки! Все женщины, сколько их было в Монсовом домишке, ухлыстали веселиться, оставив дитя в одиночестве. Это возмутило Аленку безмерно. Она и представить себе не могла, чтобы хоть одна из ее подружек-мастериц, не говоря уж о молодых боярынях, которых она видывала в Верху, оставила сыночка без всякого присмотра, не посадила с ним хоть какую глухую бабку.

Странные нравы были в слободе...

Вдруг снаружи раздался такой треск, будто невесть сколько домов рушилось. И комнатка осветилась как бы от вспыхнувшего непостижимым образом в небе пожара.

Дитя забормотало, но не проснулось.

Аленка вспомнила – государь вечно затевал огненные потехи, то у князь-кесаря Ромодановского, то у князя Голицына, то у своего слободского любимца, пожилого генерала Гордона, который, как жаловалась однажды Наталья Кирилловна, нарочно для привлечения государя выписал из Германии новые книги о том, как в небе пылающие картины и вензеля производить.

От фейерверка ей, впрочем, была и польза – она могла разглядеть всё обустройство комнаты, и выложенный в шахматную клетку плиточный пол, и такую невиданную в Верху вещь, как два поставленных друг на дружку деревянных сундука в крупной резьбе, и длинные занавеси по обе стороны высокого, в частом переплете, стеклянного окна.

Затем Аленка сунулась в другую дверь – там стояли две постели. Постояв, она дождалась новой вспышки – и обнаружила, что одна из постелей застлана пристойно, а на другой как будто кто валялся.

Кровати у этих немцев были так себе, низкие. Для Аленки приступочки перед ложем и возвышающиеся сугробом тюфяки, крытые перинами, были неременной принадлежностью небедного житья. Она усмехнулась про себя – неужели на этакой скудости та змея подколотная Анна государя принимает? Не сравнить же с Дунюшкиными пуховиками!

Достав из-за пазухи узелок, Аленка прокопала рукой пещерку под тюфяком и затолкала туда подклад.

Что-то еще велела произнести Степанида Рязанка над прикрыш-травой, а что – у Аленки, разумеется, вылетело из головы. Она задумалась, стоя на коленях перед кроватью, и так, видно, крепко задумалась – не сразу поняла, что шаги на лестнице приблизились уже вплотную!

Выхода не было – Аленка нырнула под кровать.

Вошли, внеся и свет, двое – мужчина и женщина.

Ей показалось, что это Анна Монсова и тот мужчина, с которым она целовалась.

Они беседовали по-немецки, причем оба были чем-то весьма довольны. И сели они на ту постель, под которой схоронилась от греха подальше Аленка. Она видела их ноги – одна пара в больших запыленных башмаках с пряжками и в белых чулках, другая – в бархатных башмачках, уже несколько потертых.

Эти ноги вели себя странно – переступали, приподнимались, а потом и вовсе исчезли, как будто в воздух взмыли. Причем сразу же прекратились и речи.

Бархатные башмачки вишневого цвета один за другим упали на пол, мужские же башмаки куда-то подевались.

Аленка не сразу сообразила, что означает это колыханье и поскрипывание кровати. А когда поняла – от стыда чуть не умерла.

Там, над ее головой, мужчина и женщина торопливо, даже не раздеваясь, соединились. Прошло неимоверно долгое время. Раздался негромкий и торжествующий смешок женщины. Мужчина о чем-то спросил, она ответила.

Дивно было, что они предаются блуду, имея под собой заговоренный подклад, который, по словам Степаниды Рязанки, должен был нарушать это дело.

Очевидно, подклад оказался смысленный – должен был вредить лишь рабе Анне с рабом Петром, а прочих мужчин подпускал к немке беспрепятственно.

Аленка представила, как будет рассказывать о своем великом подкроватном сидении Дунюшке и Наталье Осиповне, как будут они восторгаться, руками всплескивая, и как поразятся верховые боярыни, казначеи, стольницы да постельницы, сенные девки вновь вспыхнувшей любви между царем с царицей.

В непродолжительном времени на пол ступила нога в большом башмаке, за ней и вторая. Крупная рука, едва видная из-под белого, нездешней работы кружева, напарила оба маленьких башмачка и вознеслась вместе с ними.

Двое на постели снова заговорили, но голоса были озабоченные.

Анна соскочила, потопала – видно, маловаты были те башмачки, хоть и ладно сидели, – и первая вышла из опочивальни, мужчина – за ней. Подождав, выбралась Аленка из-под грешной постели и прокралась к лестнице.

Тут-то и услышала она наконец русскую речь!

– Ты ли это, Франц Яковлевич? – спросил резковатый, задиристый юношеский голос. – Мы же тебя, сударь мой, обыскались!

– Я пошел за Аннушкой, Алексаша, дабы уговорить ее вернуться. Это нехорошо, когда красавица в разгар веселья покидает общество, – отвечал тот, кого называли Францем Яковлевичем, отвечал по-русски и – вполне внятно.

Аленка даже рот приоткрыла – неужто сам Лефорт?

Собеседники стояли в дверях, причем Алексаша – так, как если бы собирался входить в дом, а немец – как если бы собирался его покинуть.

Анны поблизости вроде бы не было. Видно, выскользнула первой, чтобы их, блудодеев, вместе не встретили.

– Ну и как, уговорил ли, Франц Яковлевич? Государь в толк не возьмет, куда она подевалась. Он с ней, с Анной, так не улаивался.

– Я не застал ее наверху.

– Кого же ты тогда там, сукин сын, уговаривал?! Святого духа?...

Сорвалось грубое слово – да отступить некуда, вытянулся весь Алексаша, подбородок бритый выставил, грудь выкатил. Застыли оба на мгновение – росту равного, грудь в грудь, глаза в глаза.

Немец отвечал на сей раз по-немецки, повелительно, и даже замахнулся на парня.

Тот ответил по-немецки же, и жаль – ни слова не понять.

Лефорт прервал его, высказал нечто краткое, но весомое, и попытался отстранить.

– Она же теперь не твоя, а государева! – возмутился, уже по-русски, Алексаша. – Проведает государь – камня на камне от вашей слободы не оставит!

Немец неожиданно и неудержно рассмеялся и сказал что-то такое, отчего защитник прав государевых лишь руками развел.

– Ну, давай уж, что ли, Франц Яковлевич...

– Больше так не делай, юноша, подслушивать под окошками – дурно, – с тем немец, порывшись в накладном кармане, достал нечто и передал парню из горсти в горсть.

– Как же теперь с Аннушкой быть? – пряча деньги, спросил Алексаша.

– Я ее уговорил, – отвечал Лефорт. – Погуляет, придет. Будет кротка и покорна, как боярышня.

С тем и удалился по темной улице, походочка – носками врозь, плечи гуляют, кабы не длинная шпага, торчащая из-под золотного кафтана, – вовсе шут гороховый.

– Ах, растудить твою... – Алексаша витиевато выразился и присел на порог у полуоткрытой двери.

Только его тут Аленке и недоставало!

Она из закутка под лестницей видела широкие плечи парня, горой выложенные над макушкой кудри вороных накладных волос.

Вдруг он вскочил – похоже, услышал что-то. И пропал из поля зрения Аленки.

Надо было удирать.

Девушка метнулась к двери и увидела, что Алексаша не так уж далеко и ушел. Стоя посреди улицы, он выплясывал нечто непотребное – кланялся, отключив зад и метя по пыльной земле рукой, да еще подпрыгивал при сем.

Выкрутасы свои он выделял перед тремя всадниками. Они же не торопились сходить с коней, а наблюдали за ним, и лица их, скрытые широкими полями оперенных шляп, были недостижимы для взгляда.

– Ну, полно, будет! – сказал один из них на чистом русском языке. – Ты, сокол ясный, не вчерашнего дня ли тут ищешь?

– Я по государеву делу, твое княжеское высочество! – с некоторой обидой отвечал Алексаша.

Всадник поднял голову и убедился, что окна во втором жилье темны.

– А где ж государь? Чай, и не ведаешь, что ты по его делу хлопчешь...

– На том берегу, во дворце, Борис Алексеич! – бодро отвечал Алексаша. – Крикнуть лодку?

– А я чаял его здесь найти. Не кричи... Мы с доктором Лаврентием криков сегодня понаслушались...

Князь Голицын повернулся к другому всаднику и сказал ему что-то по-немецки. Тот ответил и развел руками, как бы признавая в некоем деле свое бессилие.

– Государь сговорился с Анной, что она первая сюда прибежит, он – за ней, – не слишком уверенно молвил Алексаша. – Я всё дозором обошел, чует мое сердце – неладно сегодня что-то...

– Ф-фу, в горле пересохло, – буркнул Голицын и, видно, сам же перевел свои слова на немецкий язык для доктора Лаврентия. Тот со всей услужливостью залопотал, указывая рукой в глубь улицы.

Третий всадник послал было коня вперед.

Алексаша внимательно слушал.

– Зачем же юнкера взад-вперед гонять? – спросил он, с пятого на десятое уразумев, что доктор предлагает прислать прохладительный напиток из своего дома. – Матрена Ефимовна завсегда на кухне лимонад в кувшине оставляет. Кувшин большой, всем хватит, да государь его и не больно жалуется.

И удержал под уздцы немецкого коня.

– Однако пьют... – Голицын сказал что-то доктору Лаврентию, тот отвечал, и снова в небо с шипом взлетело черное ядро и рассыпалось на цветные звезды. Доктор проводил их паденье взглядом, быстро произнес довольно много отрывистых слов и рысцой поехал прочь.

– Сказал, чтобы юнкер нам услужил, а сам он заедет домой и оставит... оставит... – тут Алексаша запнулся.

– Суму с прикладом своим лекарским, – помог Голицын в то время, как молодой спутник Лаврентия Ринцберга слезал с коня. – Ты бы при нем, Алексаша, язык не распускал – он по-русски изрядно понимает, еще при государе Алексее Михалыче переводчиком служил.

– А что ж скрывает? – опешил Алексаша.

– А ты его спроси! – ехидно посоветовал Голицын. – Вот он теперь по всей слободе и разнесет, что государеву прислужнику что-то возле Монсова дома неладно показалось! То-то бабам радости будет!

– И так же все видят, что эта блядина дочь государя морочит!.. – хмуро возразил Алексаша. – Борис Алексеич, как же это так? Я же своими ушами слышал! Государь же ей, дуре, честь оказал! Я всё не верил, сегодня – подслушал! Государю надо сказать – почто он такую падлу к себе приблизил?

– Молчи, дурак, – строго, но беззлобно одернул Голицын. – Не твое собачье дело. Государь всё и без тебя знает. Девка государя пока что боится... а он – ее... Никак не столкнутся по-настоящему. Молчи, всё равно не поймешь. Государь с Францем Яковлевичем сами разберутся.

– Борис Алексеич...

– Молчи, говорят. Больно много воли взял.

Но сказал это Голицын беззлобно.

Молодой немец тем временем вошел в Монсов дом. Видно, ему и прежде приходилось тут бывать – он сразу взял оставленную на окошке возле двери свечу и направился на кухню. Аленка еле успела встать за дверь. Теперь лучше всего было бы, если бы и Голицын с Алексашей вошли следом, но они предпочли разбираться в государевых отношениях с Анной Монс на улице.

Получив от Голицына такой нагоняй, Алексаша призадумался.

– Что ж ее бояться? Разве у него ранее дел с немками не было? – спросил он не столь князя, сколь самого себя.

– Поймешь ты, дурень, когда-либо, чего с такой бабой бояться. Не жена, чай. Не угодишь – другого сыщешь, а этой и искать недалеко, Франсишка чертов ее, видно, к доброму угождению приучил... А государю где было выучиться? Не с теремными же клушами... Да что ж он там, сам лимонад готовить взялся?

Как бы в ответ на эти слова на кухне что-то рухнуло.

Встревоженный Голицын крикнул по-немецки, но ответа не получил.

– Карауль здесь! – быстро приказал он Алексаше, а сам, едва не зашибив Аленку дверьми, ворвался на кухню.

Парень обернулся вправо, влево и ловко достал укрытую прежде лапами кафтана пистоль.

– Сюда! – крикнул Голицын. – И дверь за собой запри!

– А что?

– Худо!

Аленка скрылась в испытанное место – под лестницу. Алексаша вошел, торопливо заложил дверь засовом и в два шага оказался на кухне.

– Пресвятая Богородица! – только и воскликнул он.

– Тише...

– За доктором Лаврентием бежать?

– Поздно.

– Это что же?... – До парня только-только стало доходить жуткое. – Это для государя зелье припасли?

– Молчи, Алексаша. Молчи. Боже тебя упаси шум поднимать! От тела избавиться нужно.

– Да как же? Да всех же нужно на ноги поднять! Может, тот злодей недалеко ушел!

– Да молчи же ты! – удерживая пылкого парня, велел Голицын. – Негоже шум подымать!

Помнишь, как в прошлом году о сю же пору было? Как наши немцы уразумели, что государя отравить пытались, – так первый Франчишка Лефорт лыжи было наострил, кони день и ночь стояли наготове. Вся слобода полагала убираться из Москвы поскорее, да и сам я с минуты на минуту беды ждал. Вот те крест, Алексаша – не стал бы государевых похорон дожидаться! Если сейчас немцы пронюхают, что Петру Алексеичу опять зелья в питье подлили, – уж точно с места снимутся. Позору-то будет! И шведский резидент, и голландский резидент сразу своим государям отпишут – с Москвой не связывайтесь, не договаривайтесь, здесь царей травят. Вон к голландцу каждую неделю гонец из Гаги письма привозит и забирает. Понял? А нам с ними жить... Так что молчи, Христа ради. Не удалось тому блядину сыну, промахнулся – и ладно. Молчи, понял? Известно, куда ниточка тянется. Мы до них еще доберемся...

Алексаша кивнул, соображая. Куда ж еще та ниточка протянуться могла, как не в Новодевичий монастырь, в келейку к государевой сестрице?

Год назад, нет, поменее – ни с того ни с сего на государя Петра хворь напала, кровью ходил. Что, как не зелье? Месяц проболел, совсем уж был плох. И знал Алексаша, что помри государь – не вспомнят о нем, конюховом сыне, ни Франц Яковлевич, ни Борис Алексеич, ни Федя Апраксин, никто! А вернет власть бывшая правительница Софья – ему, Алексаше, первому на дыбе повиснуть.

Так что послушался он мудрого совета, не стал перечить Голицыну, а почесал сквозь накладные волосы в затылке:

– Бухвостова с Ворониным сыскать надо, – решил он. – Эти – надежные. Они сейчас при государевых конях стоят... И Луку Хабарова. Пусть возьмут тело, донесут до Яузы – и того... в навигацию...

– Разумно, – одобрил Голицын. – До утра сего кавалера не хватятся, пока из Яузы выловят – тоже времечко пройдет. А может статься, и не выловят вовсе – коли Лука исхитрится...

– Исхитрится! – пообещал Алексаша.

Голицын достал кошелек, вынул, не глядя, денег, протянул:

– И напоить всех троих до изумления!

– Постой, Борис Алексеич! – Алексаша удержал собравшегося было идти князя. – Ежели я за молодцами побегу, а ты – удержать государя, чтобы раньше времени сюда не жаловал, не вышло бы беды! Нужно этот дом запереть!

– Легко сказать... Хотел бы я знать, где ключ от замка!

– Я его и не видывал, при мне дверей не отворяли.

– Не к Монсу же за ним бежать! Вот что, Алексаша. Тело нам самим вынести придется. И донести до кустов. Зажги свету, сколько можешь, чтоб мы тут с этим телом всё вверх дном не перевернули.

Алексаша зажег на кухне лампадку, вышел, высоко ее держа и норовя пристроить еще выше, в сенцы. Тут-то он и увидел под лестницей лицо.

– Борис Алексеич! Сюда! Здесь баба! – почему-то шепотом позвал он, становясь между Аленкой и дверью.

– Баба? – изумился Голицын. – Не было ж никого!

– Сам не пойму, откуда взялась! А ну, вылезай добром, пока силком оттуда не вынули!

Аленка выбралась из-под лестницы и была схвачена повыше локтя крепкой рукой Голицына.

– Гляди ты, сенная девка! – ничего иного по Аленкиному перепуганному личику да русскому наряду он и подумать не мог. – Алексаша, видел ты у Монсов эту девку?

– Нешто я на них, дур, гляжу? – обиделся тот. – Ты чья такова будешь?

Аленка обалдело молчала.

– Как звать-то тебя?

И на этот вопрос ответа они не получили.

– Вот оно как... Алексаша, беги-ка ты, свет, за Лукой с товарищами. Пусть веревку с собой прихватят. Возьмем эту девку ко мне домой и там ей язык развяжем, – решил Голицын. – Не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, она много чего про бедного юнкера нам расскажет, если с пристрастием допросить...

– Вот она, ниточка, что от Новодевичьего тянется! – Алексаша рассмеялся, оскалив ровные зубы, и лицо у него было – волчье. – Где-то я эту девку, Борис Алексеич, всё же видел... Не у Монсов, разумеется...

– А где же?

– А вот погода – припомню... Тьфу, черт, засов в пробое застрял! Ага! Сейчас приведу Луку...

– Да только прытче, во весь дух! – приказал Голицын. – Не ровен час, государь с Анюткой пожалуют. Управишься – я уж тебя не забуду.

Он на мгновение отпустил Аленкино плечо, чтобы перехватить поудобнее.

А делать этого ему не следовало.

Аленка, плохо разумея умом, что творит, присела на корточки – и рванулась вперед. Проскочив в дверь под рукой у высокого Алексаши, воевавшего с пробоем и засовом, она соскочила с невысоких ступенек – и понеслась по темной улице. За спиной у нее плескались связанные рукава телогреи.

Алексаша молча понесся следом.

Господь уберег Аленку – если бы она кинулась прочь от слободы, выбежала на открытое место, тут бы он, длинноногий, ее и нагнал. Уж оставалось меж ними шагов пять, не более, и, прибавив ходу, Алексаша мог схватить Аленку за рукава.

Но сбившуюся с пути девку понесло почему-то в сторону Яузы.

Очередная вспышка огненной потехи отразилась в узкой речке, и по огням плавали нарядные лодочки, и хохотали женщины, и навстречу Аленке бежали, только что переправившись с того берега, две молоденькие немки, может статься, даже те самые, которых она этим вечером уже видела, а за ними – два кавалера, причем один высоко подпрыгивал и размахивал сорванными с кудрявой головы накладными волосами. Аленка шарахнулась от них, пропустила – и понеслась далее. А вот Алексахе проделать того же не удалось – его окликнули, признав по кафтану за своего. И как он с теми немцами разбирался – Аленка так никогда и не узнала.

Пробежав немного вниз по течению, она заметила пустую лодку и, не долго думая, забралась в нее, оттолкнулась от берега, поплыла по течению – куда угодно, лишь бы подальше от огненных вспышек в небе!

Грести Аленка не умела, куда ей, комнатной девке, но попыталась, ускорила, как могла, ход лодочки, да бросила ее и выбралась на берег, когда услышала русскую речь.

По словам рыболовов она догадалась, что занесло ее к Земляному городу. А это уже, слава богу, была Москва...

И теперь уж самая пора была подумать – куда же дальше-то?

В Верх? Отвечать, где это она ночью шлялась?

А коли тот Алексаша вспомнил, что девку-невеличку то в Преображенском, то в Коломенском, а то и вовсе в Кремле видывал? Росточек-то у нее приметный... В Верху и так шум подымется оттого, что она незнамо где ночевала, а тот чертов Алексаша и добавит...

И вспомнила тут Аленка старенького стольника Безобразова... Того, что пытался Тихона Стрешнева в государевы батюшки определить.

Безобидный сплетник сразу, как окончилось Троицкое сиденье, был отправлен воеводою на Терек – это в его-то годы. Ехать он не хотел – и понадеялся на колдунов да на ворожеек, деньги им платил, чтобы государь Петр и государыня Наталья Кирилловна сделались к нему добры и вернули его на Москву. Собственные его холопы донесли на него, что якобы некий волхв Дорошко взялся напустить по ветру тоску по Безобразову на царское семейство. И был отправлен перепуганным стольником в Москву – как будто наговор на ветер только там и можно произвести.

Были призваны к ответу и Безобразов, и Дорошко, и прочие колдуны, и жена Безобразова, что вытворила вовсе дикое – взяла семь старых полотняных лоскутов, еще неизвестно от чьих рубах, велела написать на них имена Петра и Натальи, затем ей изготовили восковые свечи с этими лоскутьями вместо фитилей, а свечи дура-баба разослала по церквам, приказав зажечь перед образами и наблюдать, чтобы прогорели дотла.

Легко она, бестолковая, отделалась – после пытки сослали в монастырь. А Безобразову Андрею Ильичу голову отрубили, Дорошку и еще одного колдуна живыми в срубе сожгли...

Много вокруг этого дела подняли шуму, всё искали Софьину руку, а нашли одну безобразовскую чистосердечную дурость.

Строго было насчет ведовства, да еще в царских хоробах... Государя колдовством извести – да за это всё тело раскаленными щипцами по клочку расщиплют!..

И вменили-то в вину стольнику Безобразову всего-то наговор на ветер, который то ли был, то ли нет, и лоскутья, которые ко дню допроса с пыткой давно сгорели! А Аленкин подклад, Степанидой Рязанкой даденый, всё еще под тюфяком у немки лежит! И мертвое тело в Яузе выловить недолго...

Господи Иисусе!..

* * *

Охранять государеву особу и служить в тайном деле было Алексаше Меншикову на роду написано. И даже без всякого приказания, а именно, что на роду...

Был Алексаша сыном государева конюха Данилы Меншикова.

Покойный государь Алексей Михайлыч до того любил лошадей и охоту, что у самых Боровицких ворот Кремля, подле Конюшенного приказа, велел завести Аргамачьи конюшни. Неподалеку, в Чертолье, поблизости от Белого города, находились Большие конюшни. Коли в Аргамачьих стояли дорогие жеребцы под седло, и персидские, и всякие, то в Больших – мощные кони-возники, и не менее полутора сотен разом. Государевых же кобыл держали на кобыличьих конюшнях в подмосковных – в Давыдове, Даниловском, Усладце, в Александров-

ской и Гавриловской слободах, а также в Воробьеве и Коломенском – там, где любил бывать Алексей Михайлыч. При них и конюхи селились.

Наследник его, Федор Алексеич, также любил лошадей страстно. И при нем количество подседельных жеребцов, возников и кобыл в государевых конюшнях превысило пять тысяч. Вместо Аргамачьей и Большой конюшен был выстроен обширный Аргамачий двор. Казалось бы, жить конюхам да радоваться! Сколько же их было, конюхов, если присмотр за лошадьми завели такой, как за детьми малыми, и ежедневно мыли их всех поголовно теплой водой? Да и только ли лошадьми занимались они?

Конюхи были государевыми посыльными – развозили царские письма и грамоты по городам. Через конюхов Алексей Михайлыч держал связь с послами и воеводами. А еще давал им задания Приказ тайных дел. А какие?

Приказы в ту пору, особенно личные государевы, отдавались устно. Если письменно, то читать имел право лишь тот, кому адресовано. Прочитав, письмо возвращали посланцу. Или возвращали государю в нераспечатанном виде. Выполнив секретное поручение, подъячие Тайного приказа были обязаны докладывать об этом лично царю. А в письменном виде так: «Что по твоему, великого государя, указу задано мне, холопу твоему, учинить, и то, государь, учинено ж».

Известно, впрочем, что именно конюхи перевозили крупные денежные суммы, тайную государеву переписку. Не кому-нибудь, а стряпчему конюху Василию Алемасову Алексей Михайлыч доверил доставить азбуку «закрытого письма» воеводе Афанасию Лаврентьевичу Ордын-Нащокину – главному своему помощнику в делах межгосударственных.

Посланы были государем четверо конюхов в Астрахань – разведать, чем там занимается воевода Яков Безобразов. Ехали как бы закупать коней, но первый конюх поскакал с известием, когда воевода направился с ратными людьми на реку Яик, второй – когда отряд воеводы встретился с воровскими казаками, третий – как только завершилось сражение... А чего им не скакать через всю Россию – парни молодые, под конями выросли, на конях и жизнь проводят... Конюхи-то они были уж потомственные.

Возможно, и Данила Меншиков особые услуги государю оказывал. Теперь уж не узнать.

После кончины Алексея Михайловича в 1676 году Тайный приказ был упразднен. И немалое число бояр желало так истребить его архив, чтобы и духу не осталось. Часть дел была роздана другим приказам – в которые какие пристойно. Небольшой дубовый ящик с личной перепиской Алексея Михайловича приказный дьяк Дементий Башмаков доставил в Верх. Туда же он доставил «тайные азбуки».

Петр, став царем, велел своему бывшему воспитателю, а ныне – тайному советнику и ближней канцелярии генералу Никите Зотову немедленно переписать все оставшиеся от Тайного приказа бумаги и хранить их у себя. Много лет спустя эти документы оказались в Санкт-Петербурге, в подвалах дома Двенадцати коллегий на Васильевском острове, которые не раз затоплялись регулярными наводнениями. Лишь в 1835 году была создана сенатская комиссия по разбору архива. Оказалось, что в подвалах скопилось более двух миллионов дел, многие из которых настолько истлели, что при первом прикосновении превратились в прах. Найти среди этой кучи гнилой бумаги дела Тайного приказа не сумели... А статочно, и не пытались.

Жаль утраченного. Впрочем, всякий тайный государев слуга не должен рассчитывать на благодарность потомства. И царевы конюхи – не первые, не последние.

После смерти государя Федора Алексеевича осталось их без дела несколько сотен – конюхов, стремянных, сокольников, кречетников, конных псарей. Куда деваться? Нет уж государевых наград... А было времечко – ни одна челобитная о скудости не оставалась без ответа, никто царского отказа не получал! Стали конюхи промышлять, чем подвернется. Тем более что многие и без того имели мелкие промыслы – кто книги переплетал, кто шорным делом занимался, кто портняжничал, кто даже слюдяные окончины для окон мастерить наострился.

Невзирая на те промыслы, без царевой милости оказались конюхи в незавидном положении, до того незавидном, что будущий герцог Ижорский, рейхсмаршал и президент Военной коллегии был посылаем отцом, Даниилом Меншиковым, каждое утро в Кремль с лотком горячих пирогов и, говорят, даже побиваем, коли зайчатина в пирогах стрельцам показалась несвежей.

И начали конюхи соображать – куда податься? Кому они такие нужны – глазастые, да не болтливые, отчаянные, да не продажные? Есть товар – да кто купец?

Пусть государыне Софье стрельцов довольно. Пусть государь Иванушка хоромы только для богомольного выезда или крестного хода покидает. Но вот государь Петр у себя в подмосковных нечто этакое затевает... Всех молодых стольников и спальников под ружье поставил. А делается это в Коломенском, а там как раз конюхи и обитают! Так и вышло, что бывшие любимцы Алексея Михайлыча перешли к его самому младшему сыну. И из всего наследства, что оставил отец сыну, это, как выяснилось, было наилучшее.

Царские конюхи стали государевым потешным войском. Немало их пришло к Петру Алексеичу, немало оказалось в первых полках новой российской армии – Преображенском и Семеновском.

Петр прекрасно знал, какие молодцы надели зеленые преображенские мундиры. При нужде использовал их знания и хватку. И сами они для того к нему явились, чтобы знаниями и хваткой послужить, как в явном деле, так и в тайном. Коли приказания не получали, так сами случая искали – как Алексаша Меншиков.

И уж он-то свой случай в конце концов отыскал!

* * *

– Да ты, девка, с ума совсем сбрела!.. – в великой растерянности бормотала матушка Ирина. – Да как это тебя сюда ноги принесли? Прости, господи, мое прегрешенье...

Аленка стояла перед ней на коленях.

– Не видел меня никто! – и она, чтобы придать веры словам, перекрестилась. – Я в калиточку проскользнула! Матушка Ирина, Христом-богом прошу – не выдай! Я пытки не выдержу!..

– Я тебя не выдам, а потом всех нас, и черниц, и белиц, к ответу притянут? Скажут – так-то вы божеский закон исполняете? Скажут – чародеям и ворожеям потворствуете! Кабы кого другого пытались испортить – а то самого государя!

– Да не напускала я на него порчу! – перебила Аленка, но матушка Ирина не слушала.

– Тому лет пятнадцать, кабы не более, в царицыных светлицах корешок нашли, в платок увязанный. То-то кнутом мастериц попотчевали, пока разобрались! А тут – на государя посягновение!

Аленка была уж не рада, что прибежала со своей бедой в монастырь. То ли она не умела объяснить, то ли матушка Ирина не пожелала понять – только пожилая монахиня гнала сейчас свою давнишнюю любимицу прочь. А более Аленке идти было некуда.

В Кремле ее схватили бы сразу. Если Алексаше удалось вспомнить, что за девка вырвалась у него из рук, если он с утра отыскал бы светличную боярыню... Тогда и к Лопухиным идти было опасно – туда бы за ней сразу явились, а если бы кто-то по доброте и скрыл ее в вотчинных деревеньках, то сам бы с перепугу и выдал. Аленке грозило обвинение в отравлении, а единственным ее оправданием было другое преступление – чародейство, единственным доказательством – пук сухой травы под тюфяком, и неизвестно, что хуже...

– Не уйду, матушка Ирина, не уйду отсюда! Погубят они меня!

Как ни была Аленка проста, а понимала – если ее схватят, начнут пытать, а она не выдержит, назовет Дуню или Наталью Осиповну, то об этом сразу проведают Лопухины, и станет в царицыных светлицах одной вышивальщицей меньше. Уж найдется способ избавиться от

девки, что сдуру затесалась в дела государственные. Ведь если Дуня попадет в настоящую опалу, не только супружескую, то и весь лопухинский род с ней вместе, а у Петра Алексеича окажутся вовсе руки развязаны... А если Дуню не называть – тогда объяснить все события той ночи попросту нечем, и кнутом тут ничего путного не выбить, и железом не выжечь...

Инокиня снова забормотала, крестясь, снова оттолкнула девушку, требуя, чтобы та не губила монастырь и не подводила неповинных сестриц и матушек под плети.

– Я к игуменье пойду! – в отчаянии воскликнула Аленка. – Она не даст неповинную душу губить, она меня укроет!

– Да где укроет-то? Что, как тебя уже выследили? Поди прочь, а мы все скажем, что уж с год будет, как тебя не видали!

– Да куда идти-то?

Аленка сызмальства выросла у Лопухиных, потом сопровождала Дунюшку и в Преображенском, и в Коломенском, и в Кремле – так что не было на Москве дома, где она могла бы попросить убежища.

Матушка Ирина вдруг замолчала и полезла под тюфячок. Она достала оттуда туго увязанный узелок.

– На, возьми... Возьми, ради Христа, и ступай!

Тонкими и чуткими пальцами золотошвеи Аленка поняла, что там – мелочь, неизвестно зачем прикопленная. Но не кривеньким да потертым денежкам было сейчас ее спасти!

Однако столько испуга и отчаяния было в глазах матушки Ирины, что Аленка оттолкнула протянутую руку, поднялась с колен и выбежала из кельи.

Матушка Ирина поспешила следом.

Аленка хотела дожидаться выхода инокинь к заутрене, чтобы упасть в ноги матери игуменьи.

Она и место для этого наметила – у входа в маленькую зимнюю церковь, называемую обычно трапезной, потому что стояла она впритык к монастырской поварне, ее печами и отапливалась.

Но, к огромному своему удивлению, она увидела, что дверь во храм открыта и там горят свечи.

Аленка заглянула – перед чудотворной Богородицей, которая не однажды спасала от смерти детей и стариков, лежала на полу женщина, рядом же стояла на коленях матушка игуменьи, вполголоса произнося молитву.

По ночному времени в церкви было так прохладно, и женщина лежала, разметав полы богатой шубы, крытой червчатой обьярью.

Аленка проскользнула в церковь и встала так, чтобы, когда мать игуменьи с той женщиной поднимутся с колен и пойдут прочь, оказаться перед ними.

Но матушка Ирина, спешившая следом, углядела-таки, куда спряталась девушка, и вошла за ней, и, правой рукой крестясь, схватила ее левой за рукав сорочки. Аленка шарахнулась, уперлась, не желая выходить, – но затевать в храме возню было никак нельзя, и обе они, ни слова не говоря, лишь тихо сопели.

Женщина, что лежала перед образом, с трудом поднялась на колени, постояла, крестясь, и, опершись рукой об пол, встала и на ноги. Теперь Аленка увидела, что ночная молитвенница роста среднего, сложения плотного, лицо у нее крепкой лепки, широкое, немолодое, скорбное.

– Не выживет он, матушка, – сказала женщина игуменьи. – Не дошла моя молитва, ох, не дошла, не понесли ее ангельцы наверх...

– Не умствуй, а молись, раба, – одернула ее игуменья, и тут увидела она, как в углу, у свечного ящика, молча сражаются Аленка и матушка Ирина.

Оставив молитвенницу, игуменья твердым шагом направилась к ним – матушка Ирина ахнула, встретив острый взгляд, и Аленка, воспользовавшись ее изумлением, выскочила вперед и рухнула на колени.

– Христом-богом молю! – воскликнула она, и в ночной тишине трапезной церковки голос прозвенел каким-то вовсе неподобающим воплем. – Не выдавайте меня!

– Кто такова? – спросила игуменья.

– Алена, матушка, бояр Лопухиных, – объяснила матушка Ирина. – Всё у нас постричься собиралась, да не отпускает ее государыня Авдотья Федоровна...

– Та Алена, что в Верх взяли, в царицыну Светлицу золотошвей? – вспомнила игуменья. – Та, что у нас подольник чернobarхатной фелони вышивала?

– Я это, матушка! – подтвердила Алена. – Смилуйся, не погуби!

– Чего хочешь, раба?

– Хочу постричься, – не вставая с колен, твердо объявила Аленка.

Игуменья помолчала.

Матушка Ирина, решив, что игуменья в затруднении, поспешила непростено прийти на помощь.

– Что за пострижение впопыхах? Мать игуменья, ты спроси у нее, окаянной, чего ради она посреди ночи в обитель тайком пробралась! Ты спроси у нее, что она этой ночью сотворила! Спроси, как она чары наводила! За ней же утром стрельцы явятся! Она всю обитель под плети подведет!

– Алена! – строго сказала игуменья. – Что молчишь? Говори!

Аленка вздохнула.

Не прошло и часа, как она рассказала о своей беде матушке Ирине – и всё, чего она добилась, был смертельный испуг инокини. Повторить этот рассказ таким, каким он сложился у нее в голове, пока она сюда добиралась, девушка не могла – чтобы и игуменья со страху не выпроводила ее за ворота. А ничего другого девушка не припасла.

– Встань, раба, – приказала игуменья, взяла Аленку за руку и подвела к чудотворному образу. – Если ты виновата – ступай прочь, нет тебе здесь места.

– Я всё расскажу... – торопливо произнесла Аленка. – Видит Бог, видит Матерь Божья, всю правду расскажу... Вот перед ликом... Пусть Матерь Божья знает – не виновата я!..

– Молчи. Незачем мне знать твою правду.

– Матушка!.. – воскликнула инокиня. – Она же погубит нас всех!..

– Она к Господу за помощью пришла, не нам ее отвергать, – властно возразила игуменья. – А если ее возьмут и пытать будут, она многих понапрасну оговорит – и этот ее грех будет на тебе да на мне! Кто видел, как она сюда пробралась?

– Алена! – Матушка Ирина, чуя, что грозу проносит стороной, помягчала голосом. – Верно ли тебя никто не видел?

– Марфушка, она видела, когда впустила. Она ведь там живет, у калиточки.

Игуменья с инокиней переглянулись.

– Боле – никто?

– Не знаю – никто, верно...

– Марфушка... – Мать-игуменья повернулась к статной и скорбной ликом женщине, которая во всё время их странной беседы даже, казалось бы, не прислушивалась, а, отступив в сторонку, стояла у небольшого образа Спаса на водах и бормотала краткую, многожды повторяемую молитву. – Матушка Любовь Иннокентьевна! Сжалился над тобой Господь – послал способ услужить себе. Это – добрый знак.

– Не выживет Васенька, ох, не выживет... – отвечала женщина. – Сердце истомилось, не к добру такая смертная тоска...

– А я тебе говорю, что к добру. Не пререкайся, раба! А сделай-ка ты вот что – возьми эту девку, увези, спрячь. Мы тебе ее вывести отсюда поможем. Послушание это тебе от меня. И воздастся.

– Поди сюда, – сказала женщина Алене. – А ты помолись за нас, за грешных, матушка. Полегчает Васеньке – сдержу слово, пришлю в обитель и муки, и капусты, и свечу в пуд поставлю.

– Я помолюсь, а ты поспешай. Того гляди, сестры начнут в храм Божий сходить, заметят чего не след, – поторопила игуменья. – А ты, раба, выменяй образок Любви Иннокентьевны да век за нее и раба Божия Василия молись – через них от смерти спасаешься!

Это уж относилось к Алене.

При выходе из храма Любовь Иннокентьевна распахнула полы своей необъятной шубы и, как наседка крылом, прикрыла Алену. Так и вывела ее во двор, так и провела к своему возку, и правильно сделала – уже спешила к колоколенке, поставленной между обеими церквями, летней и зимней, звонарка – матушка Иулиания.

В возке Любовь Иннокентьевна разговоров не разговаривала, лишь бормотала молитвы.

Ехали, казалось бы, не столь уж долго – а успели заговорить колокола. Сперва – мелкие, звонные, потом – средние, уж чего-чего, а звона заутреннего на Москве хватало. В самой скромной сельской церквушке имелось не менее трех колоколов, что уж говорить о богатых монастырях и церквях, где одних больших очепных в каждом – едва ль не по десятку? Где благовестники – в тысячу пудов? А тех церквей на Москве – немерено...

Аленка знала службы и по звону как бы видела, что делается в храме. Особенно нравилось ей, как перед чтением Евангелия под звон все свечи, сколько их есть в церкви, возжигают, и в этом – некое просветленное предчувствие благодати... С первыми словами звон прекращается – не мешает ее снисхождению. И по прочтении главы – один сильный удар: снизошла!

Возок остановился, затем снова подался вперед. Любовь Иннокентьевна словно опомнилась – заговорила громким голосом:

– Терешка, черт, вплотную к крыльцу подгоняй! Сам шлепай по грязище, коли желаешь, а меня избавь!

Когда возок встал окончательно, Любовь Иннокентьевна с трудом поднялась для выхода.

– Прячься, девка, – велела она. – Сейчас сразу ступени будут, я медленно всхожу, принорюсь.

Выпихиваясь из возка разом с Любовью Иннокентьевной, Аленка, хоть и плотно прижатая к ее боку, прямо зажата между тяжелой полой шубы и расшитой телогреей, углядела в щелку крытое крыльцо о двенадцати ступенях, сильно вынесенное во двор, матерые резные брусья, крышу его подпиравшие, резные наличники высоко поднятых, как оно и должно быть в хорошем доме, окон. В сенях под ноги была постелена большая чистая рогожка. Точеные тонкие перильца двух лестниц вели из сеней: одна – вниз, в подклет, другая – вверх, к горницам.

– Матушка! – сверху в сени сбегали две пожилые, опрятные, полные женщины. – Голубушка, хозяйюшка!

– Жив Васенька? – спросила запыхавшаяся при подъеме Любовь Иннокентьевна.

– Жив, матушка, жив!..

– Всюду побывала, всюду помолилась, – как бы подводя итог минувшей ночи, сообщила Любовь Иннокентьевна. – Одних свечей пудовых шесть штук Господу обещала... Перед чудотворной простиралась... Более сделать – не в силах человеческих... Подите к себе, молитесь. А я – к Васеньке...

– Шубку, пожалуй, сними, матушка...

– Не надо, – Любовь Иннокентьевна отстранила ближних женщин. – Продрогла – на каменном полу-то... Сбитню горячего – вот чего мне нужно, и покрепче, чтобы горло продрал. Принеси-ка, Сидоровна, в горницу. Посажу там у печки – отойду.

Женщины заспешили в подклет, где была поварня с кладовыми. Любовь Иннокентьевна, прижимая к себе Аленку, повела ее наверх, в горницу. Аленка углядела мореного дуба дверь с кипенно-белыми костяными накладками – архангельской, надо полагать, работы.

Горница была убрана богато – большая высокая печь так и сверкала сине-зелеными кафлями, а по каждой кафлине – то травка с цветом, то птица-Сирин. Второе, что заметила Аленка, выпроставшись из-под шубы, – так это скатерть на ореховом столе, шитую цветами и птицами.

В святом углу был немалый иконостас, горели лампадки перед образами, а сама горница легкой синеватой дымкой душистого ладана как бы затянута – видно, в доме служили молебен.

Вдоль стен, меж лавками под суконными полавочниками, стояли богатые поставцы с серебряной и позолоченной посудой. В углах имелись сундуки, обитые прорезным железом. Всё было дорого, но в меру, лишняя челядь не суежилась, не подглядывала – и Аленка решила, что ее спасительница, скорее всего, из богатых купчих, не иначе – вдова, уж больно она вольно живет для мужней жены, всю ночь где-то проездила, никому отчета не дает, да и женщины о муже не обмолвились.

Любовь Иннокентьевна тяжело опустилась на скамью.

– Садись, девка, – велела она. – Что же с тобой делать, послушание ты мое?

– Отправь меня в какую ни на есть обитель, матушка Любовь Иннокентьевна, – попросила Аленка, не садясь, однако. – Век буду за тебя Бога молить.

– А своей ли волей ты в обитель идешь? – усомнилась купчиха. – Не спокаешься?

– Не спокаюсь. Я и раньше того хотела.

Любовь Иннокентьевна задумалась.

– Бога за меня молить – это ты ладно надумала. Только вот что, девка... Кто ты такова, как звать тебя – знать не знаю, ведать не ведаю, и ни к чему мне это... Ведь если я тебя в отдаленную обитель отправлю – всё одно придется тебе там назваться. А раз тебя искать станут, то ведь не только на Москве! По обителям тоже пошлют спросить...

Дверь в горницу – не та, что входная, а за печью, – открылась, на пороге встала старуха и, увидев Любовь Иннокентьевну, кинулась к ней, всплеснув широкими рукавами подбитого мехом лазоревого летника, видно, с хозяйкина плеча.

– Матушка, кончается! Кончается светик наш, отходит, отходит Васенька!..

– Не гомони! – оборвала ее Любовь Иннокентьевна. – Чего стала? Пусти!

И тяжелым шагом двинулась в спальню, да так решительно, что дверные косяки, казалось, раздались, пропуская ее. Аленка поспешила следом. Старуха, шарахнувшись, привалилась к стенке за поставцом и мелко крестилась.

Купчиха присела на край большой кровати, на которой перинки, тюфячки и пуховички были так высоко постланы, что вскарабкаться на них она бы и не смогла без скамеечки, а просто сдвинула их локтем и боком, отчего они встопорщились и взгорбились.

– Васенька, а Васенька?... – позвала она.

Из осененной пологом темной глубины никто не ответил.

– Сама здесь останусь, – сказала твердо Любовь Иннокентьевна. – Сама с ним буду. Более Бога молить, чем этой ночью, уже сил нет...

– Я с тобой, матушка Любовь Иннокентьевна, – и Аленка без приглашения села на приступочек внизу постели, сжалась у ног суровой купчихи как кошка нашкодившая – лишь бы не прогнали.

– Ну что же... – пробормотала та. – Соборовали тебя, Васенька... Глухую исповедь от тебя приняли... Миром помазали... Всё сделали, что надобно, так-то, Васенька... Более сделать ничего уж не могу... Прости, коли что не так... и я тебя во всем прощаю... по-христиански...

При этом она, отыскав в одеялах руку умирающего, выпростала ее и медленно гладила.

Потом, вспомнив про Аленку, строго поглядела сверху вниз и снова заговорила скорбно:

– Жениться ты собирался, Васенька... Не довелось мне женку твою на пороге встречать, в пояс ей поклониться... А уж как бы я детушек твоих баловала...

Вдруг она замолчала.

– Слышь, девка. Надумала я. Отвезут тебя в Успенский девичий монастырь, что в Переяславском уезде, в Александровской слободе. Не так чтоб далеко. Игуменья мне родня, мать Леонида. Скажешься купецкой вдовой. Что, мол, привез тебя из Тамбова на Москву племянник мой, Василий Калашников, тайно, потому что пошла за него без родительского благословенья. Потом же Васенька за сыпным товаром ездил, в драку угодил и от раны скончался... И ты после него более замуж не пойдешь, а грех перед родителями замаливать будешь. Запомнила?

– Да, матушка Любовь Иннокентьевна.

– Будешь мне за Васеньку молельщица, за его грешную душеньку. Обещаешь?

Аленка нашарила рукой сквозь сорочку крест.

– На кресте слово даю – сколько жива, буду за упокой его души молиться.

– Поминанье Васеньке – на священномученика Василия, пресвитера Анкирского, что накануне шестой седмицы Великого поста. Запомнила?

– Запомнила. Век за тебя Бога молить буду...

– За него!.. А теперь поди, поди... А я с ним побуду...

Аленка вышла в горницу, где всё еще стояла за поставцом перепуганная старуха.

Села на лавку. Что еще за Успенская обитель? Каково там? И как же Дунюшке о себе весть подать?

Просидела она довольно долго – или так показалось? Заслышав тяжелые шаги Любви Иннокентьевны, встала.

– Не пойму, – сказала, входя, купчиха. – Как будто спит... Вот тебе черный плат, покройся. Григорьевна, кликни Настасью. А ты, девка, туда стань.

Старуха, опомнившись, вдруг сгорбилась, голову в плечи втянула до невозможности и вдоль стены убралась из горницы. Аленка, накинув плат на голову, спряталась за поставцом.

Вошла одна из тех пожилых женщин, что встретили их на крыльце.

– Прикажи Епишке возок закладывать, чтоб до света в дорогу, – велела Иннокентьевна. – Я надумала в Успенскую обитель крупы и муки послать. Пусть мать Леонида за Васеньку тоже молится. И зашел бы Епишка ко мне – я ему еще приказанье дам.

– Что же возок, а не телегу, матушка?

– А то, что я с ним девку туда отправлю. Мне игуменья Александра послушанье дала – девку отвезти в Успенскую обитель, – не солгав, кратко объяснила купчиха. Не хочу, чтобы ее на телеге открыто везли. Постриг, чай, принимать собралась. Я скажу ему, где он ее после заутрени заберет.

Но когда Епишка, высокий и крепкий мужик, еще молодой, но с бородищей во всю грудь, с поклоном предстал перед ней, приказ ему был иной.

– Вот ее тайно со двора сведешь, в возок усадишь. Ферезея от покойницы Веры осталась, я знаю. Ей дашь, тебе потом заплачу. Будешь через заставы провозить – скажи, племянница. Довезешь с мешками до Александровской слободы, до Успенской обители.

– Кто ж она такова? – спросил Епишка.

– Про то тебе знать незачем. Возьми в клетки мешок муки ржаной, да другой – муки ячной, да овса два мешка. И пшеница – это будет пятый. Скажешь игуменье, матушке Леониде, – мол, купецкая вдова шлет, Любовь Иннокентьевна, и пришлет еще, а она бы приняла девку... Ну, езжай с богом, чтобы досветла с Москвы съехать.

Купчиха перекрестила Епишку, затем – Алену, и, не сказав более ни слова, ушла к Васеньке.

– Мудрит хозяйка, – заметил Епишка. – Ну, пойдем, что ли.

Видно, велика ростом была покойница Вера – ее широкая фрезеза волоклась за Аленкой, как мантия, рукава по полу мели. Но дорожная епанча и не может быть короткой – должна сидящему ноги окутывать.

И еще до рассвета, как только стали подымать решетки, которыми на ночь улицы перекрывали, выехала Аленка из Москвы. Дал ей припасливый Епишка мешок с хлебом, луком да пирогами, дал баклажку с яблочным взваром, дал еще подовый пирог с сельдями в холстине, и всё это легло ей на колени, так что и не повернуться. Однако Аленка после двух диковинных ночей, последняя из которых выдалась и вовсе бессонная, заснула мертвым сном среди мешков с мукой и крупой. И что уж там врал Епишка, выезжая на Стромынку, она так и не узнала.

Он разбудил девушку днем, оба поели, и Аленка уснула опять. Приходилось спешить – дорога вела лесом, в лесах пошаливали, и несколько подвод и возков сбивались обычно для безопасности вместе.

Очевидно, в конце концов она отоспалась за обе ночи – и, трясась меж пыльных мешков, попыталась обдумать свое положение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.